

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА



СНЫ
О
ГРУЗИИ

направлен к м
Армаг

Дер. 83, 2-я строка:

"но все же был лишь захолустный
2) стр. 102 ~~там~~ - посвящение: ^{Борису}
Борису Мессереру

3) 205 ~~там~~ - посвящение:

4) стр 202 - посв.; ^{Анне Оудакевич}
Анне Оудакевич

5) стр 176 - посв.; ^{Борису Мессереру}
Борису Мессереру

6) стр 84: Тот лезгинчик, как виселица, криво и отменно
посраженном, не приводящем в дом,
но вводящем из дому, ^{на крыльце узнаю}
присущим обаян: краля, неслы

ше не в ~~ред~~ ни ремесла, ни науки,
Клянусь чьим Владыч твою (вотки не)

носу гм. Парану

... И - в ^{носу} ~~Парану~~ ^{носу}
носу гм. в 3-ий раз...
~~По~~ ~~Зоб~~ ~~Пом~~ (специально)
сообщения,
по повериям.

~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~ ~~По~~
они хороши, зодн ~~По~~
поверия в носу, и ~~По~~
они спец. сообщ.

И - носу гм. в 3 раз
носу гм., в 3 раз
по гм. и ~~По~~ в ~~По~~
Ирина Иванна и ред
гм. гм.





БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

СНЫ
О
ГРУЗИИ

Катаженко родной
и мне пев
любимой и
моей, и моей семьей
— Тед.

2.VII.782.

P2+Г
891.71—1 + 899.962.1—1
А 954

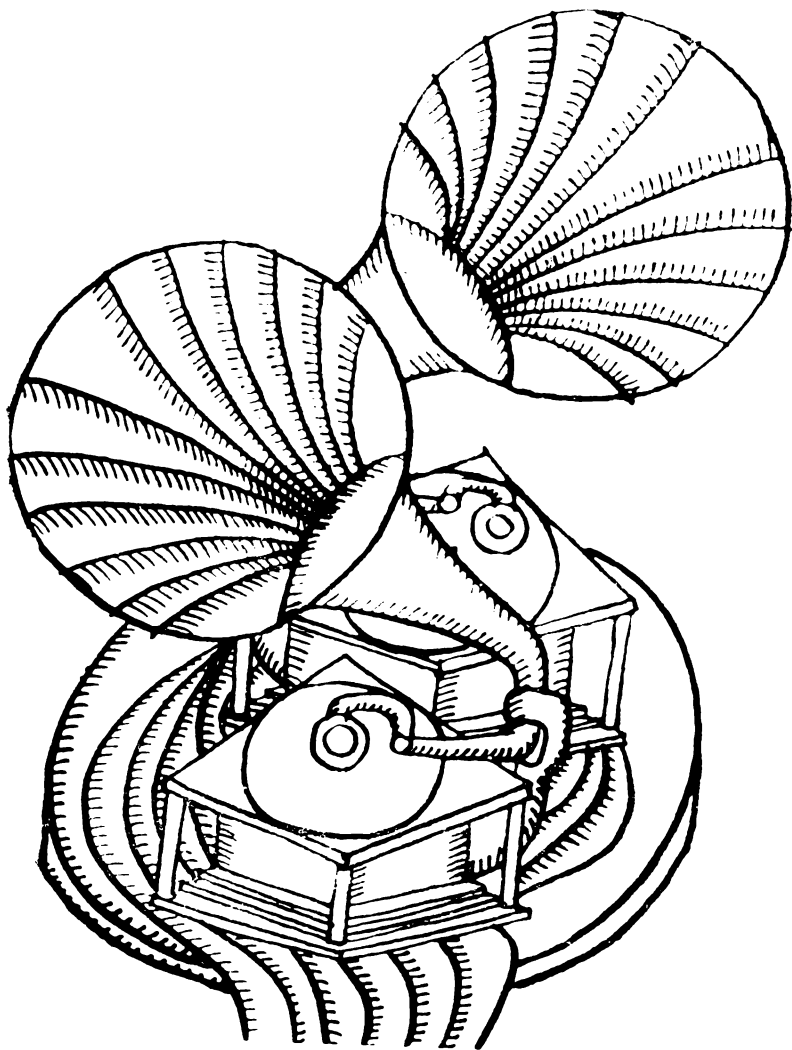
Название этой книги не случайно связано с Грузией. В ней собраны произведения Беллы Ахмадуллиной самых разных жанров — стихи и поэмы, переводы из грузинской поэзии и проза, в том числе очерковая и критическая. Грузия же и грузинская поэзия представлены здесь в естественном соседстве с Россией, с образами и судьбами русских поэтов, наиболее близких автору, от которых и ведет Белла Ахмадулина свою поэтическую родословную. У них же — у великих русских поэтов разных эпох — наследует она свою духовную и душевную привязанность к Грузии. Мотивы этого родства проходят через всю книгу, объединяя стихи о Грузии со стихами, задуманными, написанными или же впервые опубликованными в Грузии. Произведения эти неотделимы, вместе с тем, от других пластов и мотивов ее творчества, олицетворяя в целокупности, говоря ее же словами, «непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта», возвещая нам дивной музыкой и гармонией своей благородную повесть о том, как приходит к Человеку «сильная, горячая, вечно прекрасная жизнь и одаряет его своим справедливым, несравненным благом».

Георгий Маргвелашвили

Редактор-составитель
Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ

А $\frac{70402-3-63}{M604(08)-77}$ 116—77

© Издательство «Мерани», 1977



СТИХИ

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радости!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море парусы плутали,
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медин,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши все в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершись на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» — из окошка звали,
«Натэла!» — голос отвечал...



Смеясь, ликуя и бунтуя,
в своей безвыходной тоске,
в Махинджаури, под Батуми,
она стояла на песке.

Она была такая гордая —
вообразив себя рекой,
она входила в море голая
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,
так шла и шла наискосок.
Она расстегивала лифчик,
чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного
дразнил и душу бередил.
Там белое пошло по смуглому,
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,
в воде ладонями плеща,
и перекатывались радуги
от головы и до плеча.

АБХАЗСКИЕ ПОХОРОНЫ

Две девочки бросали георгины,
бросали бережливо, иногда,
и женщины устало говорили:
— Цветы сегодня дороги — беда...

И с жадным страхом улица глядела,
как девочки ступали впереди,
как в отблесках дешевого газета
белым-белели руки на груди.

Несли венки, тяжелые, скупые,
старушек черных под руки влекли.
Да, все, что на приданое скопили,
все превратилось в белые венки.

На кладбище затеяли поминки,
все оживились, вздрогнули легко,
и лишь глаза у женщины поникли
и щеки провалились глубоко.

Но пили, пили стопкою и чашкой —
и горе отпустило, отлегло,
и на дороге долго пахло чачей,
и голоса звучали тяжело.

И веселились песни хоровые,
забывшие нарочно про беду...
Так девочку Геули хоронили.
Давно уже — не в нынешнем году.

●

— Все это надо перешить, —
сказал портной, — ведь дело к маю.
— Все это надо пережить, —
сказала я, — я понимаю.

И в кольцах камушки сменить,
и челку рыжую подрезать,
и в край другой себя сманить,
и вновь по Грузии поездить.

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помывает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,
пишу стихи у краешка стола,
и все-таки меня снедает ревность,
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто,
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу
печник на необжитом новом доме,
я тоже вытираю об траву
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор —
послушно перенять его пример
и, пристально прикинув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревце сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скупую радость эту.



Ты говоришь — не надо плакать.
А может быть, и впрямь, и впрямь
не надо плакать — надо плавать
в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,
плывущую из-под руки,
чтоб даровать себе свободу
другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко
в Сибири, в чистой стороне,
где доверительно и слабо
растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры
того, что делалось со мной?
Мерцают в памяти предметы
и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,
где среди медленной воды
посверкивая ходит омуль
и перышки его видны.

И те дома, и те саран,
заметные на берегах,
и цвета яркого саранки,
мгновенно сникшие в руках.

И в белую полосу чудо —
внезапные бурундуки,
так испытующе и чутко
в меня вперявшие зрачки.

Так завлекала и казнила
меня тех речек глубина.
Граненая вода Кизира
была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство
мое и все слова твои
напоминающей лекарство
целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,
что там, среди земли и ржи,
мне не пришлось сказать ни слова,
ни слова маленького лжи.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец празднество затеял
и щедро Днем поэзии нарек?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.
Я на себя их смелость не беру.
Ты для меня — торжественные будни.
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике — доверье и смущенье.
Как добрая душа ее проста.
Великого и малого смещение
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух ее невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остается смутная надежда,
что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смушаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером ее терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолг. Перевернута страница.
Бумаге белой нанесен урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

СТАРИННЫЙ ПОРТРЕТ

Эта женщина минула,
в холст глубоко вошла.
А была она милая,
молодая была.

Прожила б она красивая,
вся задор и полнота,
если б проголодь крысиная
не сточила полотно.

Как металася по комнате,
как кручинилась по нем.
Ее пальцы письма комкали
и держали над огнем.

А когда входил уверенно,
громко спрашивал вина —
как заносчиво и ветрено
улыбалася она.

В зале с черными колоннами
маскерады затевал
и манжетами холодными
ее руки задевал.

Покорялись руки бедные,
обнимали сгоряча,
и взвивались пальцы белые
у цыгана скрипача.

Он опускался на колени,
смычком далеким обольщал
и тонкое лицо калеки
к высоким звездам обращал.

...А под утро в спальне темной
тихо свечку зажигал,
перстенок, мизинцем теплый,
он в ладони зажимал.

И смотрел, смотрел печально,
как, счастливая сполна,
безрассудно и прощально
эта женщина спала.

Надевала платье черное
и смотрела из дверей,
как к крыльцу подводят чопорных,
приозябших лошадей.

Поцелуем долгим, маетным
приникал к ее руке,
становился тихим, маленьким
колокольчик вдалеке.

О высокие клавиши
разбивалась рука.
Как над нею на кладбище
трава глубока.

МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,

по очертания Шопена
приобретала все слышней.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

Как эта с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой расчерченном кружке.

ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы,
на дно их падает зола.
Там отдыхают великаны
после содеянного зла.

Все холоднее их владенья,
все тяжелее их плечам,
но те же грешные виденья
являются им по ночам.

Им снится город обреченный,
не знающий своей судьбы,
базальт, в колонны обращенный
и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки
цветы, что расцвели давно,
там знаки подают вакханки
мужчинам, тянущим вино.

Все разгораясь и глупея,
там пир идет, там речь груба.
О девочка моя, Помпея,
дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей
о чем ты думала, о ком,
когда так храбро о Везувий
ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,
расширила зрачки свои,
чтобы не вынести раскатов
безудержной его любви.

И он челом своим умнейшим
тогда же, на исходе дня,
припал к ногам твоим умершим
и закричал: «Прости меня!»

САДОВНИК

Я не скрипеть прошу калитку,
я долго около стою.
Я глажу тонкую калину
по загорелому стволу.

И, притаясь в листе веселой,
смеюсь тихонько в кулаки.
Вот он сидит, мой друг высокий,
и починает башмаки.

Смешной, с иголкой и с дратвой,
еще не знает ничего,
а я кричу свирепо: «Здравствуй!» —
и налетаю на него.

А он смеется или плачет
и топчет грядки босиком,
и красный сеттер возле пляшет,
в меня нацелясь языком.

Забыв в одной руке ботинки,
чудак, садовник, педагог,
он в подпол лезет и бутылки
из темноты мне подает.

Он бегаёт, очки роняя,
и, на меня взглянув тайком,
он вытирает пыль с рояля
своим рассеянным платком.

Ах, неудачник мой, садовник!
Соседей добрых веселя,
о, сколько фруктов несъедобных
он поднял из тебя, земля!

Я эти фрукты ем покорно.
Они солены и крепки,
и слышно, как скребут по горлу
семян их острых коготки.

И верю я одна на свете,
что зацветут его сады,
что странно засияют с веток
им совершенные плоды.

Он говорит: — Ты представляешь —
быть может, через десять лет
ты вдруг письмо мне присылаешь,
а я пишу тебе в ответ...

Я представляю, и деревья
я вижу — глаз не оторву.
Размеренные ударенья
тяжелых яблок о траву...

Он машет вилокю с селедкой,
глазами голодно блестит,
и персик, твердый и соленый,
на крепких челюстях хрустит...

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают руки
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознания,
весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные созданыя,
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупю,
взамен не обещаю ничего,
влечет меня далекое искусство
и требует согласия моего.

Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылепить из лунного свеченья
тяжелый осязаемый предмет?..



Человек в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет.
У него ничего не выходит.
Все выходит наоборот.

И в работе опять не выходит.
И в любви, как всегда, не везет.
Что же он в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет?

Для чего он лицо поднимает,
улыбается, в небо глядит?
Что он видит там, что понимает
и какая в нем дерзость гудит?

Человече, тесно ль тебе в поле?
Погоди, не спеши умереть.
Но опять он до звона, до боли
хочет в белое небо смотреть.

Есть на это разгадка простая.
Нас единой заботой свело.
Человечеству сроду пристало
делать дерзкое дело свое.

В нем согласие беды и таланта
и готовность опять и опять
эти древние муки Тантала
на большие плеча принимать.

В металлическом блеске конструкций,
в устремленном движенье винта
жажда вечная — неба коснуться,
эта тяжкая жажда видна.

Посреди именин, новоселий
нет удачи желанней, чем та
не уставшая от невезений,
воссиявшая правота.

●

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспылчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

Б О Г

За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая бегала в ненастье
за водкою для старика, —

ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый,
в старинном платье золотом.

Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.

За это — вдруг расцвел цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,
поднес ей желтый медальон
и так вполне сошел за бога
в своем величье молодом.

И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал
и у соседнего амбара
ей плечи слабые сминал...

А Настя волос причесала,
взяла платок за два конца,
а Настя пела, причитала,
держала руки у лица.

«Ах, что со мной ты понаделал,
какой беды понатворил!
Зачем ты в прошлый понедельник
мне белый розан подарил?»

Ах, верба, верба, моя верба,
не вянь ты, верба, погоди.
Куда девалась моя вера —
остался крестик на груди».

А дождик солнышком сменялся,
и не случалось ничего,
и бог над девочкой смеялся,
и вовсе не было его.

●

Вот звук дождя как будто звук домбры,—
так тренькает, так ударяет в зданья.
Прохожему на площади Восстанья
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —
К его курчавой головенке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом понимающим собрата
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколону склянку,
томится он под вывеской «Тэжэ».

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
прибери богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлинение,
а также замечаю удивленье
прохожих, озирающих меня.

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щеку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,
как галка маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружьи
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлек, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст, Я пуст. —
Я говорила: — Где-то, где-то... —
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.
О, как он притворился ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл все: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан граненый ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан—навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалеко звезды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,
все так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблужишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивленный
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены.

— И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые среди тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царица Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
— Царица, отвори нам! Нам немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,
царевна, ты — в суровости своей? —
Я говорю: — Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!»
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: — Богат он или беден,
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.



В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая легкость,
и, расстилаясь над землей,
вскла меня погоды летность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне все дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явления.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегаёт дитя
и нарушает их порядок.

●

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

СЕНТЯБРЬ

Ю. Нагибину

I

Что за погода нынче на дворе?
А впрочем, нет мне до погоды дела —
и в январе живу, как в сентябре,
настойчиво и оголтело.

Сентябрь, не отводи твое крыло,
твое крыло оранжевого цвета.
Отсрочь твое последнее число
и подари мне промедленье это. ?

Повремени и не клонись ко сну.
Охваченный желанием даренья,
как и тогда, транжирь свою казну,
побалуй все растущие деревья.

Что делалось! Как напряглась трава,
чтоб зеленеть с такою полнотою,
и дерево, как медная труба,
сияло и играло над землею.

На палисадники, набитые битком,
все тратилась и тратилась природа,
и георгин показывал бутон,
и замирал, и ожидал прироста.

Испуганных художников толпа
на цвет земли смотрела воровато,
толпилась, вытирала пот со лба,
кричала, что она не виновата:

она не затевала кутерьму,
и эти краски красные пролиты
не ей — и в доказательство тому
казала свои бедные палитры.

Нет, вы не виноваты. Все равно
обречены менять окраску ветви.
Но все это, что желто и красно,
что зелено, — пусть здравствует вовеки.

Как пачкались, как били по глазам,
как нарушались прежние расцветки.
И в этом упоении базар
все понижал на яблоки расценки.

II

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.
Все кончилось. Все начиналось снова.
До этого не начислялось дней,
как накануне рождества Христова.

И мы увиделись. И в двери мы вошли.
И дома не было за этими дверями.
Мы встретились, как старые вожди,
с закинутыми головами —

от гордости, от знания, что к чему,
от недоверия и напряженья.
По твоему челу, по моему челу
мелькнуло это темное движенье.

Мы встретились, как дети поутру,
с закинутыми головами —
от нежности, готовности к добру
и робости перед словами.

Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,
ты действовал так слепо и неверно.
Свобода равнодушья, ты одна
будь проклята и будь благословенна.

Счастливы подзащитные твои —
в пределах крепости, поставленной тобою,
неуязвимые для боли и любви,
как мстительно они следят за мною.

И мы увиделись. Справлял свои пиры
сентябрь, не проявляя недоверья.

Но, оценив значительность игры,
отпрянули все люди и деревья.

III

Прозрели мои руки. А глаза —
как руки, стали действены и жадны.
Обильные возникли голоса
в моей гортани, высохшей от жажды

по новым звукам. Эту суть свою
впервые я осознаю на воле.
Вот так стоишь ты. Так и я стою —
звучащая, открытая для боли.

Сентябрь добавил нашим волосам
оранжевый оттенок увяданья.
Он жить учил нас, как живет он сам, —
напрягшись для последнего свиданья...

IV

Темнеет наше отдаленье,
нарушенное, позади.
Как щедро это одаренье
меня тобой! Но погоди —

любимых так не привечают.
О нежности перерасход!
Он все пределы превышает.
К чему он дальше приведет?

Так — жемчугами осыпают,
и не спасает нас навес,

так — музыкою осеняют,
так — дождик падает с небес.

Так ты протягиваешь руки
навстречу моему лицу,
и в этом — запахи и звуки,
как будто вечером в лесу.

Так — головой в траву ложатся,
так — держат руки на груди
и в небо смотрят. Так — лишаются
любимого. Но погоди —

сентябрь ⁵ответит за растрату
и волею календаря
еще изведает расплату
за то, что крал у октября.

И мы причастны к этой краже.
Сентябрь, все кончено? Листы
уж падают? Но мы-то — краше,
но мы надежнее, чем ты.

Да, мы немалый шанс имеем
не проиграть. И говорю:
— Любимый, будь высокомерен
и холоден к календарю.

Наш праздник им не обозначен.
Вне расписания его
мы вместе празднуем и плачем
на гребне пира своего.

Все им предписанные будни
как воскресения летят,

и музыка играет в бубны,
и карты бубнами лежат.

Зато как Новый год был жалок.
Разлука, будни и беда
плясали там. Был воздух жарок,
а лед был груб. Но и тогда

там елки не было. Там было
иное дерево. Оно —
сияло и звалось рябина,
как в сентябре и быть должно.

V

Сентябрь — чужак и выживать мастак.
Быть может, он не разминется с нами,
пока не будет так, не будет так,
что мы его покинем сами.

И станет он покинутый тобой,
и осень обнажит свои прорехи,
и мальчики и девочки гурьбой
появятся, чтоб собирать орехи.

Вот шелкают и потрошат кусты,
репейники приклеивают к платью
и говорят: — А что же плачешь ты? —
Что плачу я? Что плачу?

Наладится такая тишина,
как под водой, как под морской водою.
И надо жить. У жизни есть одна
привычка — жить, что б ни было с тобою.

Изображать счастливую чету,
и отдышаться в этой жизни мирной,
и преступить заветную черту
блаженной тупости. Но ты, мой милый,

ты на себя не принимай труда
печалиться. Среди зимы и лета,
в другие месяцы — нам никогда
не испытать оранжевого цвета.

Отпразднуем последнюю беду.
Рябиновые доломаем ветки.
Клянусь тебе двенадцать раз в году:
я в сентябре. И буду там вовеки.

ДЕКАБРЬ

Мы соблюдаем правила зимы.
Играем мы, не уступая смеху,
и, придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли.

И, будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжелая забота:
а что с тобой имеем мы в виду.

Мы бабу лепим, только и всего.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота и удлинение
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: — Смотри, как я леплю.—
Действительно, как хорошо ты лепишь
и форму от бесформенности лечишь.
Я говорю: — Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,
мимо прохожих, с выраженьем дерзким.
С лицом таким же пристальным и детским,
любимый мой, всегда играй в игру.

Поддайся его долговому труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему **удачливость** ребенка,
рисующего домик и трубу.



Мы расстаемся—и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нем велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,

и распадается иван-да-марья.
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки — по вине разлуки
меня с тобой.

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку,
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
иссет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
невдомым дыханьем населенный
и свежей толчею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с доброю старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиток из ковша.

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моем мозгу и чернотой меж век,
все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,
в своей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где—только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
пужней ее сладчайшая суровость.

**СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
В ТБИЛИСИ**

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиною,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей под звездой, до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — в час зари поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сласть,
пролив слюною сладости избыток.
Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.

Пульс тих, как сок в непробужденном древе.
И— снова спать! Спать долго. Спать всегда.
Спать замкнуто, как в материнском чреве.

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуясь.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? Ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, нанскосок,
уходят запахи и звуки.

●

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие управляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
уюмюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

МОИ ТОВАРИЩИ

1.

— Пока! — товарищи прощаются со мной.
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,
и поднимаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать — до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятны давно
мне все приметы этой обстановки.

Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: — О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок —
это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: — Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: — Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
— О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим —
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство, —
мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь:—Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам не надобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!

2.

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кошунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, — это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвали или корн,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Все остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолеты
все снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как снится мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли, и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы.
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нем — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно боязно расстаться
тебе со мной—такой большой?

Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю — злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.

С О Н

О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
разделявает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней,
а нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: — Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетьем прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежи
в ладонях нежности — к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.

— Не скажи! —
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил: — Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, проникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью мать,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой Марининой пресветлой
уж как-нибудь, а все ж я проживу.



Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи, —
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.

СЛОВО

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермя.

И впрямь—в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок это слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ушелье
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить во всей красе объема
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.

Сколь достойны хвалы и любви,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во все, что воспеть тороплюсь,
воплещусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — Забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж деревьев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Ещё ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессов.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый среди людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.
Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него влепивши точку.
Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.
Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.
О, спать да спать, терпеть счастливый гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.
Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,

и пробуждает ноздри запах кофе.
Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.
Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.
Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.
Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосулук теплых обрыватель.
Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.
Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.
И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.
Ждет насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий, — разве не могла
его наполнить толчеей сердечек?
Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев

мне не бродить. Но что все это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.
Иду — поить губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья вызволяю слово.
В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.
Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.
Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пушай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — Неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где не попад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспомытстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспмятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нем — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравую детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотритишь всех его затей,
не расплетишь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
все время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в легких, с ударением крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверек природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь среди пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,
неграмотным я рыщу взглядом.
Я мало смыслю в декабре,
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить.
Здесь свадьба двух стихий творится.
Их совпадение разлучить
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь
не вклинится! Им не заметен
медопролитный крах плодов,
расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!
Погибнут дождь и сад друг в друге,
оставив мне решать судьбу
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь
для мимолетной щели светлой,
чтоб птицы маленькая дрожь
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,
что в промежуток их раздора
мне б следовало втиснуть дом,
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна
два раза вытерпеть усладу:
страдать от сада и дождя
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нем все мертво!
Не я ли совершила это?
Приют сиротства моего
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,
но все ж не то и не настолько,
чтоб выпрошенной мной бедой
чужие вышибало стекла.

Все дождь и сад сведут на нет,
изгнав из своего объема
не обязательный предмет
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре
так возгордиться духом слабым,
чтобы препятствовать игре,
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,
с ее деревьями и мглою,
чужое место на земле,
некстати занятое мною?



Зима на юге. Далеко зашло
ее вниманье к моему побегу.
Мне — поделом. Но югу-то за что?
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду
растений полумертвые подранки.

Гнев севера меня имел в виду,
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?
Сил не было иметь температуру,
которая бездомью моему
не даст погибнуть спьяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,
под натиском ее несправедливым,
я отступала в теплый тыл земли,
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,
повис над морем — если море это:
волна, недавно бывшая водой,
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,
мороз кончины им сулят прогнозы.
Не твой ли ямб, любовь моей души,
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне теплицы красоты!
Я удалюсь и все это улажу.
Зачем влекла я в чуждые сады
судьбы своей громоздкую поклажу?

Мой ад — при мне, я за собой тяну
суму своей печали неказистой,
так альпинист, взмывая в тишину,
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так обнаглеть и занестись,
чтоб дисциплину климата нарушить!

Вернулась я, и обжигает кисть
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,
лишила юг опалы снегопада.
Сладчайшего цветения прилив
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
влюбленностью зимы в мою ангину.

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
все слаще обмирает улей.
Все глубже осень, и душа
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее,
вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты—мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить—вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,

я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собаки!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под мою кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И все сильнее соблазни
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Все началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умншек
то чудище, несущее во тьму
всеяденья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее—меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал ее, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но все же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землею.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
все тот же труд меж горлом и рукою,
и смертный час—не больше, чем строка.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком—красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленным, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одетая
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и горя.
Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.
Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебная безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.
Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты—чужое, ты—нельзя,
ты—богово, тебя у бога мало.
Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной рожиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.
Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.
Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
Клянусь убить Елабугу твою.

Елабугой твоей, чтоб спали внуки.
Старухи будут их страшать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».
О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальцы ее без приговора.
Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей—и продержат подольше.
Детенышей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.
В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Маринино смертного бездомья.
И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя—как свет! как снег!—
усильем шеи, будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,

учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты—две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты—одна. Тебе—подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.
Марина, до! До—детства, до—судьбы,
до—ре, до—речи, до—всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет,—
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.
Марина, это все — для красоты
придуманно, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

●

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы — мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усиьем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощенья, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

СВЕЧА

Всего-то --- чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опроектично медлит душа.

МЕТЕЛЬ

Февраль — любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрузив о нем,

той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —
подумать, и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О, нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: — Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятой богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И, коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.
И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пушкой же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний—так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
все длится. и я. всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю—в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний—огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали тебя погостить
в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши,—скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нестись и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
все это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полет
над прочностью мира, во мгле акварели.

И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невесомым весельем,
смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.
Слабею, впадаю в смятенье невежд,
когда, воссияв над трубою подозрной,
их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появляюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила.
О счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явлению моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.
И входит, подходит та, милая, та,
простая, как холст, не насыщенный грунтом.
Но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным и грустным.
О скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет звереныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.
О девочка цирка, хранящая дом!
Все ж выдаст болезненно-звездная бледность—
во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой отвечает гневу нужды,

каменья ее обращая в съедобность?
Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.
И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком неочевидным,
и рученьку боязно в руку принять,
как тронуть скорлупку в гнезде соловьином.

И я говорю: — О, давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее частых отверстий!
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и все, что случится,—еще не беда,
ах, господи боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И посреди тишины
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,

случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Б. Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например — я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» — спросила. —
«Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость—он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди вьюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба.
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрямительность уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы—дитя мое, баловень и протезе.

Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.
Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел—
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злему сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренья провидца.

В остальном—благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю,—сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Станный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —

стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны
теперь».

В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след—лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала — скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике найтъя,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитъя.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Где виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отравы?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь—тридцать тысяч гугенотов.



Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
Блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

РИСУНОК

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпением новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный? Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
все ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
не воспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ей сегодня судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада!

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немым очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?
Это отдых, награда за муку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.
И рука моя пишет и пишет.
Навсегда разминулись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удается руке
детским жестом придвинуть тетрадку
и в любви, в беспокойстве, в тоске
все, что есть, описать по порядку.



А. Н. Корсаковой

Весной, весной, в ее начале,
я опечалившись жила.
Но там, во мгле моей печали,
о, как я счастлива была,

когда в моем доме любимом
и меж любимыми людьми,
плыл в небеса опасным дымом
избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,
никто не знал, и все равно —
нам, словно замкнутому кругу,
терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,
ты тоже здесь, твой долг высок
в том братстве, где собрат собрата
терзал и пестовал, как мог.

Но в этом трагедийном детстве
былых и будущих утрат
свершался, словно сон о детстве,
спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,
и жизнь моя была проста,
и Александры Николавны
являлась странность и краса.

Когда я на нее глядела,
я думала: не зря, о, нет,
а для таинственного дела
мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,
и выгоды не сосчитать
затем, что знают наши руки,
как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,
готов и пахнет, и твердят
все губы детские обеты
и яства детские едят.

Не зря средь праздника иль казни,
то огненны, то вдруг черны,
несчастны мы или прекрасны,
и к этому обречены.



Прощай! Прощай! Со лба сотру
вспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятие службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри,
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

Смотрели, как в огонь костра, —
до сна в глазах, до муки дымной,
и созерцание куста
равнялось чтению книги дивной.

Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.

ПРОЩАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем, как ступить на балкон,
я велю тебе, богово чудо:
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.

Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пыток,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не тарашь и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моем
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мед из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенья метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подающий поэта?

Прогоняю, стращаю, клянчу,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: о, даруй мне пощаду, —
погуби меня, только прости!
И откуда-то слышу: — Прощаю...

●

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возмев во времени былом
день нынешний, — за все я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело, навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —

в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и
доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

В тот день случился праздник на земле.
Для ликования все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,
что, намертво рожден из алебаstra,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недалняя родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела — при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

СЕМЬЯ И БЫТ

Сперва дитя явилось из потемок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.

А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педали!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице — мы отойдем и ждем.
Но все ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пес. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, все больше молодое,
все больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказало: — Ежик,
прости меня, за все меня прости.

И впрямь — прости, любая жизнь живая!
Твою, в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витают, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и все это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идем во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.

На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полуночного вздора,
что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей —
кто домовый и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спертость ремесла.
Обожествляла влюбчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чем важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,
участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но еще зачтется мне
бесславный подвиг сотворенья тени.

ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ

Ты, населивший мглу вселенной,
то явно видный, то едва,
огонь невнятный и нетленный
материи иль божества,
ты — ангелы или природа,
спасение или напасть,
что ты ни есть, твоя свобода,
твоя торжественная власть.
Не благодать твою, не почесть,
судьба земли, оставь за мной
лишь этой комнаты непрочность,
ничтожную в судьбе земной.
Зачем с разбега бесприютства
влюбилась я в ее черты
всем разумом — до безрассудства,
всем зрением — до слепоты!
Кровать, два стула ненадежных,
свет лампы, сумерки, графин,
и вид на изгородь продолжен
красой невидимых равнин.
Творилась в этих бедных стенах,
оставшись тайною моею,
печаль пустых, благословенных,
от всех сокрытых зимних дней.
Здесь совмещались стол и локоть,
тетрадь ждала карандаша,
и, провожая мимолетность,
беспечно мучилась душа.

ОПИСАНИЕ БОЛИ В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ

Сплетенье солнечное — чушь!
Коварный ляпсус астрономов
рассеянных! Мне дик и чужд
недуг светил неосторожных.
Сплетались бы в сторонней мгле!
Но хворым силам мирозданья
угодно бедствовать во мне —
любимом месте их страданья.
Вместившись в спину и в живот,
вблизи наук, чья суть целебна,
болел и бредил небосвод
в ничтожном теле пациента.
Быть может, сдуру, сгоряча
я б умерла в том белом зале,
когда бы моего врача
Газель Евграфовна не звали.
— Газель Евграфовна! — изрек
белейший медик.
О удача!
Улыбки доблестный цветок,
возросший из расщелин плача.
Покуда стетоскоп глазел
на загнанную мышцу страха,
она любила Вас, Газель,
и Вашего отца Евграфа.
Тахикардический буян
морзянкою предкатастрофной
производил всего лишь ямб,
влюбленный ямб четырехстопный.
Он с Вашим именем играл!

Не зря душа моя, как ваза,
изогнута (при чем Евграф!)
под сладкой тяжестью Кавказа.
Простите мне тоску и жуть,
мой хрупкий звездочет, мой лекарь!
Я вам вселенной прихожусь —
чрезмерным множеством молекул.
Не утруждайте нежный ум
обзором тьмы нечистоплотной!
Не стоит бездна скорбных лун
печали Вашей мимолетней.
Трудов моих туманна цель,
но жизнь мою спасет от краха
вспоминанье про Газель,
дитя добрейшего Евграфа.
Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живет во мгле твоих трагедий.
Лишь в этом смысл — мараť тетрадь,
печалиться в канун веселья,
и болью чуждых солнц хворать,
и умирать для их спасенья.



Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка бога,
что прядь со лба — чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а все руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затянуть ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и неведим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он все ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,

его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
все ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,

пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растениям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледаколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды, —
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал:—Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О господи! Твой худший ученик —
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он все отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
бывал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав:—Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом дому, в чужом саду
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытья
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это—гонорар
за представление: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостя, умница, искусствовед,
имеет право молвить:—Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведal истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна, не много и не мало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?
Уверен в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.



Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей.
Лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,

я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.
Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый:

— Вот моя рука,
но все ж не пейте столько коньяка.—
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:

— Вы

однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится? —
Он мне сказал:

— Я узник прежних уз.
Дитя мое, я, как тогда, боюсь, —
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!

И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне:—Спешат твои часы.—
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.



Так дурно жить, как я вчера жила, —
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожделенной притчей во языцах.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших мыкалась по свету,

а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин,
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеясь, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так чиста суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязыкий идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пушего удобства размышленья.



Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжело тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо мое, словно чужая
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело мое чело,
и все затем, чтоб добрый критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,

описываю по порядку
все, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он был настолько выше быта
и так воспитан и умен,
что обошла его обида
былых и нынешних времен.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолетно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплета
и мебели под старину?

Все так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая кент.

Литературой мы дышали,
пока хозяин вел нас в зал
и говорил о Манделъштаме,
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познания тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: «Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек их мысли и умы.

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

Придвинув спину к их камину,
пока не пробил час поэм,
за Манделъштама и Марину
я отогреюсь и поем.

И, озирая мир крошечный,
используй, боже, власть твою,
чтоб нас простил их прах безгрешный
за то, что нам не быть в раю».

В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака,
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром,
нет, я пила, он этим ведал,
и все же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
«Потом, мой друг, когда умру,

вы мне успеете ответить.
Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать,
вам следует меня убить».

Мы помирились в воскресенье.
— У нас обед. А что у вас?
— А у меня стихотворенье.
Оно написано как раз.



Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

С тем—через «ять»—сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохранный в густке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочсть известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и челку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами: как угодно!
И выведет: Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова», — и капнет точку.

●

Опять сентябрь, как тьму времен назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
все кажется—там кто-то есть и ходит.

Мне не страшной, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
писать в тетрадь — с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистойвой осой.

И вот еще: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас ее пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив шелку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щеку.

ЭТО Я...

Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...», и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно приборь,
безмянных вещей перекличку

с именующей вещи душой.
Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.
— Быть словам женихом и невестой!—
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шепот и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Пусть бумага пребудет бела.
Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письма —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.

Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженной или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.



Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца,
чем этот обычай;
красться к столу
сквозь чашобу житья,
зренье возжечь
и следить за добычей.
От неусыпной засады моей
не упасется ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью
с ветвей,
вцепится слово
в загривок предмета.
Эй, в небесах!
Как ты любишь меня!

И, заточенный
в чернильную склянку,
образ вселенной глядит
из темна,
муча меня, как соковище скрягу.
Так говорю я и знаю, что лгу.
Необитаема высь надо мною.
Гаснут два фосфорных пекла
во лбу.

Лютый младенец
кричит за стеною.
Спал, присосавшись
к сладчайшему сну,
ухом не вел, а почуял измену.
Все — лишь ему,
ничего — ремеслу,
быть по сему,
и перечить не смею.
Мне — только маленькой
гибели звук:
это чернил перезревшая влага
вышибла пробку.

Бессмысленный круг
букв нерожденных
приемлет бумага.
Властвуй, исчадие крови моей!
Если жива —
значит, я недалече.
Что же, не хуже других матерей
я — погубившая детище речи.
Чем я плачу за улыбку твою,
я любопытству людей
не отвечу.

Лишь содрогнусь
и глаза притворю,
если лицо мое
в зеркале встречу.



В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою
спросонок,
в том же месте судьбы,
что вчера...

Он-то думал,
что некий грессмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь
сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,
прежде матери, прежде отца,
оснащенный звездой
и свирелью,
кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом
над бровью,
улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик
к изголовью —
и почтительно прочь отошли.

В понедельник,
в потемках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльем поросла.

...В той великой,
с которою слада
не бывает, в тоске — на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели,
зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне отвечивал
свет безмятежный
и указывал свет или смех,
что еще молодою и нежной

я ступлю на блистающий снег,
что вблизи, за углом поворота,
ждет меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моем что-то,
и прохожий
мне вслед поглядел.

ЛЕРМОНТОВ И ДИТЯ

Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне.
Вдруг сердце вознеслось и взмыло надо мною,
сопутствовало мне стороннею луною,
и муки было в нем не боле, чем в луне.
Но — люди говорят, и я так говорю.
Иначе как сказать? Под сердцем — так под сердцем.
Вот сбылся листопад. Извечным этим средством
не пренебрег октябрь, склоняясь к ноябрю.
Я все одна была, иль были мы одни
с тем странником, чья жизнь все больше оживала.
Совпали блажь ума и надобность журнала —
о Лермонтове я писала в эти дни.
Тот, кто отныне стал значением моим,
кормился ручейком невзрачным и целебным.
Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов.
Мой исподлобный взгляд присматривался к ним.
Был город истомлен бесснежным февралем,
но вскоре снег пошел, и снега стало много.
В тот день потупил взор невозмутимый Монго
пред пристальным моим волшебным фонарем.

Зима еще была сохранна и цела.
А там — уже июль, гроза и поединок.
Мой микроскоп увяз в двух неприглядных льдинах,
изъятых из глазниц лукавого царя.
Но некто рвался жить, выпрашивал: «Скорей!»
Томился взаперти и в сердцеvine круга.
Успею ль, боже мой, как брата и как друга,
благословить тебя, добрейший Шан-Гирей?
Все спуталось во мне. И было все равно —
что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака.
Я рукопись сдала, когда в сугробах марта
слабело и текло водою серебро.
Сновь близится декабрь к финалу своему.
Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.
Но иногда оно затихнет и тоскует,
и только мне одной известно — по кому.

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю: душа не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:
есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб—натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадаю,
и прошу: тот, кто молод — любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнет прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня независим.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.



...И отстояв за упокой
в осенний день обыкновенный,
вдруг все поймут, что перемены
не совершилось никакой.

Что неоплатные долги
висят на всех, как и висели, —

все те же боли, те же цели,
друзья все те же и враги.

И ни у тех, ни у других
не поубавилось заботы —
существовали те же счеты,
когда еще он был в живых.

И только женщина одна
под плеск дождя по свежей глине
поймет внезапно, что отныне
необратимо прощена.

АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Ремесло наши души свело,
заклеймило звездой голубою.
Я любила значенье свое
лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша
только тем, что в первейшем сиротстве
бескорыстно умела душа
хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твое:
— Я видала сама, как дымилось
меж бровей золотое тавро,
чьё значенье — всевышняя милость.

А про лоб, что взошел надо мной,
говорила: не будет он лучшим!
Не долеплен до пяди седьмой
и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,
пересилю и перелукавлю!
В час расплаты за божью звезду
я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,
похваляясь: мой дар — безусловен,
а второй—он не то, чтобы плох,
он—меньшой, он ни в чем не виновен.

Так положено мне по уму.
Так исполнено будет судьбою.
Только вот что. Когда я умру,
страшно думать, что будет с тобою.

МЕТЕЛЬ

ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда

медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,
Пушин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
Звись над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Все вам верну, ничего не отнявши.
Грозно живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость—мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

АДА

Что в бедном имени твоём,
что в имени неблагозвучном
далось мне?
Я в слезах при нём
и в страхе неблагополучном.

Оно — лишь звук, но этот звук
мой напряжённый слух морочил.
Он возникал — и кисти рук
мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам
с ним даже в сходстве отдалённом.
Слова, я не прощала вам
и вашим гласным удлинённым.

И вот, доверившись концу,
я выкликнула имя это,
чтоб повстречать лицом к лицу
его неведомое эхо.

Оно пришло и у дверей
вспорхнуло детскою рукою.
О имя горечи моей,
что названо ещё тобою?

Ведь я звала свою беду,
свою проклятую, родную,
при этом не имел в виду
судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,
не смею ничего нарушить,
с закинутою головой,
чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук
мелки и жалостны приметы.
И ты — лишь тезка этих мук,
лишь девочка среди планеты.

Но что же делать с тем, другим
таким же именем, как это?
Ужели всем слезам моим
иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной
затем, что многозначно слово,
навек остался образ твой
по воле совпаденья злого?

Ужель какой-то срок спустя
все по тому же совпаденью
и тень твоя, как бы дитя,
рванется за моею тенью?

И там, в летящих облаках,
останутся, как знак разлуки,
в моих протянутых руках
твои протянутые руки.

• • •

Жила в покое окаянном,
а все ж душа — белым-бела,
и если кто-то океаном
и был—то это я была.

О мой купальщик боязливый,
ты б сам не выплыл — это я
волною нежной и брезгливой
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,
взлелеянной в моей воде!

И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о ты, дитя мое родное,
о бедное, прости меня!

• • •

Он поправляет пистолет,
свеча качнулась, продержалась...
Как тяжело он постарел,
как долго это продолжалось.

И вспомнил он издали —
там, за пределом постаренья,
знамена своего полка,
сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.
Вчера побрел, побрел далеко
на первый ледоход смотреть,
стоял там долго, одиноко.

Потом направился домой,
шаги тяжелые замедлил

и вдруг заметил, боже мой,
вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось — давным-давно,
гроза, глубокий след ботинка,
ее плечо обведено
оборкой белого батиста.

Зачем она среди весны
о той весне не вспоминала,
стояла просто у стены,
такая жалкая стояла.

И вот непоправимый гром
раздастся, задевая рюмки,
стемнеет, упадут на гроб
жены его большие руки.

Придет его старинный друг,
успевший прочитать в газете.
Для утешенья этих рук
он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,
и глянет он непринужденно,
как на подушке ордена
горят мертво и отчужденно.

МЕТЕЛЬ

Переделкино снег заметал.
Средь белейшей метели не мы ли
говорили, да губы немые
целовали мороз, как металл?

Не к добру в этой зимней ночи
полюбились мы пушкинским бесам.
Не достичь этим медленным бегством
ни крыльца, ни поленьев в печи.

Возносилось к созвездьям и льдам,
ничего еще не означало,
но так нежно, так скорбно звучало:
мы погибнем, погибнем, Эльдар.

Опаляя железную нить,
вдруг сверкнула вдали электричка,
и оттаяла в сердце привычка:
жить на свете, о, только бы жить.

СТРОКА

..Дорога, не скажу, куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель — вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стесненных, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа, —

исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«...Дорога, не скажу куда...»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знания,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовем.

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,
пасущный день так подходил для пенья,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
все бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чем заботиться не надо:
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездною,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню — и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пенем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — не надобно меня.
И проку нет в упреках и обмолвках.
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.



Предутренний час драгоценный
спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потемках за сценой
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любви,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не восстраждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая — дивным иль страшным —
удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.



Ю. Королеву

Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечьи.

Чтоб красу предыдущих времен
возродить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора:
купол слеп и весь вид не осанист,
но уже по камням двора
восхищенный бродил иностранец.

Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово «скоросшиватель» влекло
разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травой зеленой,
с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моем
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну, а нет — так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни бременной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездюю
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольнo общались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренье
на этот мимолетный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободен и не должен
вставать, пока не встанет день.
«Кто он? — я думала. — Художник?»
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не все ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглухший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились—не торопясь,
не участвуя в случайности встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сживали в час заката
в саду, где липа и скамья.
Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем, — молвила сестра.
Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,
доныне излучает свет
ладонь...» — с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,

и заскучала...
Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.
Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
—Но где ж роман?—читатель спросит.—
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — все есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —

то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —

Вовсе нет.

Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твержу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков—во мглу веков
назад сошлю!
Не отвечает
и думает: — Она стихов
не пишет часом? — и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сырых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

●

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.
Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
шенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.
Как в этот миг любила я Москву
и думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит—
все есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священной?
День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участия моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным.

●

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Как будто мало ямба и хорей
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шея, губы, щеки,
смесь чудную коварства и проказ —
я все воспела, мы теперь в расчете,
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролет, навывтяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверье и детвору.

Довольно мне чудовищем бесполом
тому быть братом, этому — сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом,
пред тем как стать травую и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступаясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом,
а что есть ямб — знать не хочу о том.

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!
Неведомо простой душе твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я — я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это все неправда!
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проносите, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
и для меня — священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

С О Н

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чем, бишь? Да о друге знаменитом.
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветанья щек.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем?—О нем.—И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. —

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...
Но над лесом — присмотр небосвода,
и о лесе печется природа,
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —
спячка леса при будущем снеге.
Этот дом засыпает сильнее
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.
В доме призрак—бездельник и нищий,
а у леса есть бодрый лесничий
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад
всуде связывать с осенью леса
то, что в доме разыграна пьеса
старомодная, как листопад?

В этом доме, отцветшем дотла,
жизнь былая жила и крепчала,
меж висков и в запястьях стучала,
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный ум,
сердце тяжко по сердцу томилось,
пекло совести грозно дымилось
и вперялось в ночной потолок.

В этом доме, неведомо чьем,
старых записей бледные главы
признаются, что хочется славы...
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес
и соринкою, втянутой глазом,
залетела в рассеянный разум
эта строчка про дом и про лес...

Истощился в дому домовой,
участь лешего — воля и нега.
Лес — ничей, только почвы и неба.
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда
и отпраздновать нежно и скорбно
дивный миг, когда живы мы оба:
я — на время, а лес — навсегда.

●

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.
Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушенье черты и предела
и востока незваная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной —
лишь однажды взглянула с усмешкой —
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья
я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом:
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излученным звездой и звездой,

с этим неопишмым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая иль ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

ИЗ ЦИКЛА «ЖЕНЩИНЫ И ПОЭТЫ»

• • •

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темно-светло,
открыв тетрадь, перо берете в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня—все хуже, все иначе.
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.



Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты забритые поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых все нечетко!
Указка им — лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и челка.
Под челкой—лоб. Под кружевами—хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «мне страшно!» говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Не позабудь, прижав ее к груди:
все, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —
что ей твой ад, когда она в раю?

Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А все ж — пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
надела прах вчерашнего пера
и — прочь, одна, в бесхитростную участь,
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза — как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Ее душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней—ей это все равно.
О муке речь. Но в степень этой муке
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил — не помнишь нынче, с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не уронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.
Я знала, что поздно, куда же я денусь
от смерти на сцене, от брэнного дела!

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.
Писать—это втайне молиться о ком-то.
Запеть напоказ — провиниться в обмане,
а мне не дано это и неохота.

И все же для вас я удобство обмана.
Я знак, я намек на бывшее, на Сороть,
как будто сохранены Марина и Анна
и нерасторжимы словесность и совесть.

В гортани моей, неумелой да чистой,
жил призыв старинного русского слова.
Я призрак двусмысленный и неказистый
поэтов, чья жизнь не затеется снова.

За это мне выпало нежности столько,
что будет смертельней, коль пуще и больше.
Сама по себе я немного стою.
Я старый глагол в современной обложке.

О, только за то, что душа не лукава
и бодрствует, благословляя и мучась,
не выбирая, где милость, где кара,
на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.

Не проще ли нам обойтись тишиною,
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,
возьмите мой голос, мой голос последний!
Вовеки я буду добра и свободна,
пока не уйду от вас сколько-то-летней...

* * *

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась
для пущего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне—бесмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья —
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Как зримо возведен из толщи полнолунья
чертог для божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полынни.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдет. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце притупилось,
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть и
милость.

Те двое под луной — неужто ты и я?

ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ О ПУШКИНЕ

1. ОН И ОНА

Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови—родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс—бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и уьет.
Когда разгневан—страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах—та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).
Собаньская (Ржевусской рождена,
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,

бесхитроsten, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.

Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом—ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему—двадцать четыре года.

Звать—Каролиной. О, из чаровниц!
В ней все темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моем, почти дословном, переводе.

2. ОН — ЕИ

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумысел, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадет в ноги,
и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Измучена гортань кровотечением речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, все явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращаю в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу—пускай на миг, на миг...



Потом я вспомню, что была жива,
зима была, и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?
Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)... День-деньской,
ночь напролет я влюблена была —
в кого? во что?
В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.
Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожидания целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности — с тоской
грядущей... А дом на Поварской —
с немислимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нем...

ДОМ

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полет великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского—и в Хлебный,
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого —
поступка до скончанья лет
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,

подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум страдал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбилась
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени былого
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю
и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проем.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул,
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чужак.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и все играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
все это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце — века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли —
не слабее с той давней поры
их объятье густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.



Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...



Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит
жар щек... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год
в твоём доме идет ремонт,
и, говорят, спешит народ
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань
и в честь каких побед и ран
встает мучительный глазам
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров
ты утруждаешь лишь затем,
созвав их из чужих сторон,
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чудак!
Ату ее, гони взашей —
из вечной нежности собак,
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!
Тень кротко прынет за карниз —
а ты ей лакомство скорми,
которым угощают крыс.

А если в книжный переплет —
пусть книги кто-нибудь сожжет.
Она опять за свой полет —
а ты опять за свой сачок.

Не позабудь про дрожь перил:
дуб изведи, расплавь металл —
им локоть столько говорил,
покуда вверх и вниз летал.

А если чья-нибудь душа
вдруг обо мне тайком всплакнет —
пусть в устье снега и дождя
вспорхнет сквозь белый потолок.

И главное — чтоб ни одной
свечи, чтоб ни одной свечи:
умеет обернуться мной
свеча, горящая в ночи.

Не дай, чтоб пялилась свеча
в твои зрачки своим зрачком.
Вот что еще: убей сверчка!
Мне доводилось быть сверчком.

Все делай так, как говорю,
пока не поздно, говорю,
не то устанешь к декабрю
и обратишь свой дом в зарю.

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная раны!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,
что я в эту зиму устала
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,
твердил: его нет! его нет!
Смеркалось, а он все обедал,
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею, — зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
пронестекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зрением людей,
открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрек.

Сказала: грядущею ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
услугою губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,
и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так все и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.



Андрею Вознесенскому

За что мне все это? Февральской теплыни подарки,
поблажки небес: то прилив, то отлив снегопада.
То гляну в окно: белизна без единой помарки,
то сумерки выросли, словно растения сада.

Как этого мало, и входит мой гость ненаглядный.
Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться.
Ты сердцу приходишься братом, а зренью—наградой.
О, дай мне бедую с твоею звездой расквитаться.

Я — баловень чей-то, и не остается оружия
ума, когда в дар принимаю твой дар драгоценный.
Входи, моя радость. Ну, что же ты медлишь, Андрюша,
в прихожей, как будто в последних потемках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы, а ложки — о плошки.
Не слишком ли это? Нельзя ли поменьше, поплоче?

Боюсь, что так много. Ненадобно больше, о, боже.
Но ты расточитель, вот книга в зеленой обложке.

Собрат досточтимый, люблю твою новую книгу,
еще не читая, лаская ладонями глянец.
Я в нежную зелень проникну и в суть ее вникну.
Как все зеленеет—куда ни шагнешь и ни глянешь.

Люблю, что живу, что сиденье на ветхом диване
гостей неизбывных его обрекло на разруху.
Люблю всех, кто жив. Только не расставаться давайте,
сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу.



Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
— Вам сколько лет? — Ответила:
— Осьмнадцать.
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала:—Мне осьмнадцать лет.
Меня никто не понимает в доме.
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
и как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,
не расточив из времени ни часа,
робеть, не зная прелести своей,
печалиться, не узнавая счастья...



Сад еще не облетал,
только береза желтела.
«Вот уж и август настал», —
я написать захотела.

«Вот уж и август настал», —
много ль ума в этой строчке, —
мне ль разобратъся? На сад
осень влияла все строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: — Не пиши!
Августу славы не надо.

Слитком последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,

коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал
ночью налитые лужи.
«Вот уж и август настал», —
ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.
Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...



Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела, и поила грудью,
хотела — медом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Все более я пред людьми безгрешна,
все более я пред детьми виновна.



Я школу Гнесиных люблю,
пока влечет меня прогулка
по снегу, от угла к углу,
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат
крахмал порфиноносной прачки.
Моих две тени по бокам —
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю
за песнь, за превышенье прозы,
за желтый цвет, что ноябрю
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг
за толщей желтой штукатурки,
что делает согбенный звук
внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел —
где музыка? Душа погасла
для сна, но сон творим душой,
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком
и не доказана нимало,
что делает тайком, молчком
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины
она растет прыжком подспудным,
и сны ее совершенны
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю
в ночи, но более при свете,
скользя по утреннему льду,
ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья —
иному подлежа влеченью,
возвышенно бредет дитя
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,
с недоуменьем обнаружу,
что безбоязненный бемоль
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,
и надобно доверье к храму,
где чьи-то детские уста
во веки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,
что, бодрствуя в наш час дремотный,
один вдоль улиц и веков
всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,
когда бела ее ограда

и сладкозвучную ладью
колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна
велит, чтоб вылезли петунии
и в даль открытого окна
доверчиво глядят певунии.

Зачем я около стою?
Мы слух на слух не обменяем:
мой — обращен во глубину мою,
к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь — лишь боль и резь,
а кажется — легко, легко ведь...
Сначала — музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить.



У тысячи мужчин, влекомых вдоль Арбата
заботами или бездельем дня,
спросила я: — Скажите, нет ли брата,
меж всеми вами брата для меня?
— Нет брата, — отвечали, — не взыщите. —
Тот пил вино, тот даму провожал.
И каждый прибегал к моей защите
и моему прощенью подлежал.

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ ДАВНЫМ-ДАВНО

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами мне говорили:

«Пойдем в кино или в музей
изобразительных искусств».

Я отвечала им примерно вот что:

«Мне некогда».

Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков мне говорили:

«Я никогда тебя не разлюблю».

Я отвечала им примерно вот что:

«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.

Они исполнили тяжелую повинность
подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки — иные красивее, чем я,
иные некрасивей.

Пятнадцать мальчиков

преувеличенно свободно,

а подчас злорадно

приветствуют меня при встрече,

приветствуют во мне при встрече

свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.

Поставлю я твои подснежники в стакан,

и коренастые их стебли обростут

серебряными пузырьками.

Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,

и, победив себя, ты будешь говорить
со мной надменно,
как будто победил меня,
а я пойду по улице, по улице...



Моя машинка — не моя.
Мне подарил ее коллега,
которому она мала,
а мне как раз, но я жалела
ее за то, что человек
обрек ее своим поведением,
и, сделавшись живей, чем вещь,
она страдала, став подарком.
Скучал и бунтовал зверек,
исприрученный нрав насупив,
и отвергал как лишний слог
высокопарнейший мой суффикс.
Пришелец из судьбы чужой
переиначивал мой почерк,
меня неведомой душой
отяготив, но и упрочив.
Снесла я произвол благой
и сделаюсь судьбой моею —
всегда желать, чтоб мой глагол
был проще, чем сказать умею.
Пока в себе не ощутишь
последней простоты насущность,
слова твои — пустая тишь,

зачем ее слагать и слушать?
Какое слово предпочесть
словам, их грешному излишку —
не знаю, но всего, что есть,
упор и понуканье слышу.

МОСКВА НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

(Отрывок)

Родитель-хранитель-ревнитель души,
что ластишься чудом и чадом?
Усни, не тарашь на луну этажи,
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин
в ночь первого сильного снега?
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш
из отчужденья, как с неба.

То ль скареда-лампа жалеет огня,
то ль так непроглядна погода,
мой друг, твое имя читает меня
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,
орды угомон и поминки,
блаженная пестрядь, родимая речь —
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак
в садочке, в калине-малине.
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,
в ресницах — слеза по Марине...



Стихотворения чудный театр,
нежся и кутайся в бархат дремотный.
Я ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыгаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
час упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —

мука, когда раздирают отверстия
труб — для рыдания и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце—всей жизнью и смертью—разыгран
стихотворения чудный театр.

ПОБЕДА

В день празднества, в час майского дождя,
в миг соловьиных просьб и повелений,
когда давно уж выросло дитя,
рожденное порой послевоенной,
когда разросся в небе фейерверк,
как взрыв сирени бел, лилов и розов, —
вдруг поглядит в былое человек
и взгляд его становится серьезен.
Есть взгляд такой, такая тень чела —
чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее.
То память о войне, величина
раздумья и догадка — неужели
я видела тот май, что превзошел
иные май и донныне прочен?
Крик радости в уста, слезу в зрачок
вписал его неимоверный почерк.
На площади, чья древняя краса
краснеет без изъяна и пробела,
исторгнув думу, прынул в небеса
вдох всей земли и всех людей — Победа!

АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило все было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила:
— Как странно все это, как мило.
В деревьях вблизи ипподрома —
случайная сень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явление того же порядка.
Но, если вблизи ипподрома,
но, если в саду ресторана,
и Анна, хотя и продрогла,
смеется так мило и странно,
я стану резвей и развязней
и вымолвлю тост неизбежный:
— Ах, Анна, я прелести вашей
такой почитатель прилежный.
Позвольте спросить вас: а разве
ваш стих — не такая ж загадка,
как встреча Куры и Арагвы
близ Мцхета во время заката?
Как эти прекрасные реки
слились для иного значенья,

так вашей единственной речи
нерасторжимо теченья.
В ней чудно слова уцелели,
сколь есть их у Грузии милой,
и раньше — до Свети-Цховели,
и дальше — за нашей могилой.
Но, Анна, вот сад ресторана,
веселье вблизи ипподрома,
и слышно, как ржет неустанно
коней неусыпная дрема.
Вы, Анна, — ребенок и витязь,
вы — маленький стебель бесстрашный,
но, Анна, клянитесь, клянитесь,
что прежде вы не были в хашной!
И Анна клялась и смеялась,
смеялась и клятву давала:
— Зарей, затевающей алость,
клянусь, что еще не бывала!
О жизнь, я люблю твою сущность:
луну, и деревья, и Анну,
и Анны смятенье и ужас,
когда подступали к духану.
Слагала душа потаенно
свой шелест, в награду за это
присутствие Галактиона
равнялось избытку рассвета,
не то, чтобы видимо зренью,
но очевидно для сердца,
и слышалось: — Есмь я и рею
вот здесь, у открытого среза
скалы и домов, что нависли
над бездной Куры близ Метехи.
Люблю ваши детские мысли

и ваши простые утехи.
И я помышляла: куда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твое чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну...



Гие Маргвелавили

Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что все сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали, — как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, неведомек —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял
и я ни разу не спросила:

за что дарами осыпал
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана, —
чтоб отслужить любовь твою,
все будет тщетно или мало...



Помню — как вижу, зрочки затемню
веками, вижу: о, как загорело
все, что растет, и, как песнь, затяну
имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,
Тереком буйствуй в теснине гортани,
ах, я не выговорю — без предтеч
крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка, — выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,
чтобы мой голос впотьмах порезвился?
Леса ли оклик услышу, воды ль —
кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и простак,
недосягаемость скороговорки,
помнишь: лягушки в болоте... О, как
мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу
Ушбы надменной. О, вздор альпенштока!
Гмерто, ужель никогда не смогу
высказать то — несказанное что-то?

Только во сне — велика и чиста,
словно снега, разрастаюсь и рею,
сколько хочу, услаждаю уста
речью грузинской, грузинскую речью...



Я знаю, все будет: архивы, таблицы...
Жила-была Белла... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепек проливной,
и не было в городе этом подвала,
где Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.

Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! — Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекинó),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алекино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегдатай,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припек огня
небесного, он от меня
все дальше и — исчезнет скоро.

Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.
И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.
Мое сознание растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижусь. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нем ответственность лежит.

СКАЗКА О ДОЖДЕ

в нескольких эпизодах
с диалогом и хором детей

Е. Евтушенко

1.

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про все на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна,
сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Все было сухо.
И только я промокла до костей.

2.

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но все ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят!—
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3.

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги—глазок—молчание—щеколда.
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлиненный
для комнат.
— Вот как? — молвил удивленный
хозяин, изменившийся в лице.

4.

Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила легкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5.

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,
смирный в тонком горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
тем более, что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность!—

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, средь музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы:

— В огонь ее, в огонь!

За все! За дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки, с губ, как косточки черешни,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвленный. —
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколенье молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Все это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидала—там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

6.

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность —

он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалился вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7.

Все, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных богом
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит бог, преласков и превесел,
немножно старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните?

Представьте —
всей кожей об него!

— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8.

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я все лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дита твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9.

Тут хор детей возник невдалеке:
Наш номер был объявлен.
Уста младенцев. Жуть.

Мы — яблочки от яблонь.
Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.
Мы вас не подведем.
Не зря великолепен
камин, согревший дом.

В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность
пустых небес. Ура!
О пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!

10.

Лечь, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга—в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детеныше влюбленными зубами
выщелкивали бога, словно блох?

11.

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камна. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кошчнк языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям склопенным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж тесно мне средь окон и дверей!

О господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калекки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятия.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

12.

Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впились веники и щетки.
Он вырывался. Он летел на щеки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.

Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
— Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу! —
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу.
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13.

Пугал прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдет и это. —
На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
все более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я уйду из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадежила:

— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и питочку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.

Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит, как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим предметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охладил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожся, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не умещаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрой мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
свала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — все собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровлением
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправлением.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь все, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я—балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о, нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиктвар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,

вникал в значение люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоса одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.

Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиктвар. —
Здесь все мертво и не способно к плачу. —
Он, все еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать все, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, средь слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр!
— Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О боже!
Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы.
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный. —
В нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос рещен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.

Берите все! Мне все осточертело!
Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет, и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте, —
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнить ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад, —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лиц, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и камень сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых,

но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, перемешавшись разом,
он всем опасным африканским рабством
потутился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул:—Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь кротость, доброты,
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,

она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нисколько,
я сватался второй и третий раз.

В столетие том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что все-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:

— Все это ложь, изложенная длинно. —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

ГЛАВА ИЗ ПОЭМЫ

I

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —
так невелик и все-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,
и кто-то—мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,
врасплох нас наблюдала необъятность,
и наших недостойнств неприглядность
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских
дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На
нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ,
сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от
гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-
белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз.
Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я
вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожиданную си-
лу переживания, взмолился: «Ради бога! Извините меня!
Я именно теперь должен позвонить!». Он вошел было в
маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и
из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой
светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими
при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспи-
ровский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не хо-
лодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко
впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как

глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спinoй и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди—вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокругления, овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актер,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли?— вот и все, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —
как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!
Еще не все: — Так заходите завтра! —
О тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

II

Он утверждал: «Между теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
Природы вогнутый карниз,
где бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лег полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи
сомкнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!

И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!
Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

ЛУГ ЗЕЛЕНЫЙ

ВСТУПЛЕНИЕ

Еще не рассвело во мгле экрана.
Как чистый холст, он ждет поры своей.
Пустой экран увидеть так же странно,
как услышать безмолвную свирель.

Но в честь того, что есть луга с росой,
экран зажжется, расцветут холсты.
Вся наша жизнь — свиданье с красотой
и бесконечный поиск красоты.

ГОРОД

О зритель, ты бывал в Тбилиси?
Там в пору наших холодов
цветут растения в теплице
проспектов, улиц и садов.

Там ты найдешь друзей надежных.
Пусть дружба их тебя хранит.
Там жил да был один Художник...

Впрочем, дорифмовать мне придется потом, сейчас некогда, потому что Художник — вот он, перед Вами, вон тот, который разговаривает с Девушкой. Потом он пойдет по улице, встретит знакомых, поговорит с ними о том, о сем. Но я знаю, что он все время думает о своей работе и, если заснет, он увидит ее во сне. Это бывает с каждым из нас,

Текст к телевизионному фильму режиссера А. Рехвиашвили «Луг зеленый». За кадром читала Б. Ахмадулина.

только у нас с Вами своя работа, а у Художника — своя. Все, что он видит, так или иначе связано с холстом, который еще не начат. Давайте посмотрим, что происходит с Художником, или в Художнике, пока он не взял в руки кисть...

Девушка уходит, но, разумеется, она скоро вернется. Она очень много значит для нашего Художника, но он пока этого не знает...

...Взгляните на этого незнакомца. Еще раз взгляните. Хорошо, что Вы познакомились, — Вам еще предстоит встретиться...

Этого человека с цветами Вы тоже скоро увидите...

Хочу предупредить Вас, что при следующей встрече эти милые, почтенные и вполне реальные тбилисские жители могут показаться Вам несколько странными и причудливыми. Дело в том, что в следующий раз Вы увидите их такими, какими увидит их Художник. Кто знает, какими видят нас художники? А ведь они нас непременно видят, иначе бы мы не узнавали себя или что-то свое в их полотнах, книгах или в кино...

Ну, что ж, художники всегда видят нас, а мы на этот раз будем подглядывать за Художником...

МАСТЕРСКАЯ

Понаблюдаем за экраном,
а холст пусть ждет своей поры,
как будто мы в игру играем,
и вот Вам правила игры.

Поверьте мне, как я Вам верю,
и следуйте за мной теперь.
Есть тайна за запретной дверью,
а мы откроем эту дверь.

Войдем в простор чужих владений!
Художник наш вот-вот заснет.
Вы—зрители его видений,
а я в них — Ваш экскурсовод.

Заснул Художник. Холст не начат,
меж тем идет куда-то он.
Что это значит? Это значит,
что наш Художник входит в сон.

А нам, по волшебству кино,
увидеть сон его дано.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

Зеленый луг — всему начало,
он — всех, кто есть, и все ж — ничей.
И, музыку обозначая,
растет цветок — виолончель.

Смотрите, глаз не отрывая!
Трамвай — по лугу? Вздор какой!
Наверно, слышит звон трамвая
Художник, спящий в мастерской?

Все это — не на самом деле.
У сновидений свой закон.
Но по проспекту Руставели
Вам этот человек знаком.

Зачем он здесь — для нас загадка.
Мы разгадаем этот кадр.
Нет музыки без музыканта
и, значит, это — музыкант.

Пусть он не видит в этом смысла.
Он странен и чудаковат.
Он так Художнику приснился
и в этом он не виноват.

Художник то стоит, то ходит,
коль он не хочет рисовать,
а музыкант играть не хочет,
я перестану рифмовать.

Но в чем же смысл, и выход где же?
Не верьте! Это пустяки.
Рука поэтов пишет реже,
чем их душа творит стихи.

Порой искусство — это доблесть
до времени не взять смычка
иль ждать, пока созреет образ,
сокрытый в глубине зрачка.

ДЕВУШКА

Художник смотрит в даль пространства.
А истина — близка, проста.
Ее лицо вовек прекрасно.
В ней — весть любви, в ней — суть холста.

Взгляните, сколько красок дивных
таит в себе обычный день.
Вершат свой вечный поединок
Художник и его модель.

Их заверченный холст рассудит,
мне этот труд не по плечу.

Играет этот, тот рисует,
Вы смотрите, а я — молчу.

Зачем часы? Затем, наверно,
что даже в забытьи своем
мы все во времени живем
и слышим: к нам вызывает время.

Любой — его должник и должен
долг времени отдать трудом,
и наше назначение в том,
и ты рисуй, рисуй, художник!

Уже струна от натяженья
устала. Музыкант, играй!
Прилежный маленький трамвай,
трудись, не прерывай движенья!

Расчетом суетного жеста
не вникнуть в тайну красоты.
Неисчислимо совершенство.
Художник, опрометчив ты.

Ты зря моим речам не внемлешь.
Взгляни на Девушку. Она —
твое прозрение, и в ней лишь
гармония воплощена.

Постигло истину простую
тех древних зодчих мастерство.
Ну, что же, чем сложнее раздумье,
тем проще вывод из него.

Вот наш знакомый. Он, во-первых, —
садовник, во-вторых, влюблен,

и, значит, в-третьих, он — соперник
того, кому приснился он.

Не знает он, что это — Муза.
Художник ждет ее давно.
В нерасторжимость их союза
нам всем вмешаться не дано.

Как бескорыстная копилка,
вбирает сон события дня.
Но в шутке этого конфликта
Вы разберетесь без меня.

И без меня героям тесно
на этом маленьком лугу.
Вам не наскучил автор текста?
Вот он умолк — и ни гу-гу.

ГОРОД

Привет Вам! Снова все мы в сборе,
но нет ни луга, ни травы.
Художник и Садовник в ссоре,
зато не в ссоре я и Вы.

Надеюсь, Вас не раздражает,
что луг сменился мостовой?
Любой исконный горожанин
во сне вернется в город свой.

Чужие сны мы редко смотрим.
Пусть это спорно и смешно —
мы посмеемся и поспорим,
когда окончится кино.

А это кто еще со стулом?
Пока Художник не заснул,
он видел стул. Потом заснул он
и вновь увидел тот же стул.

И наши с Вами сновиденья
порой запутаны, сложны,
а сны Художника цветнее,
диковинней, чем наши сны.

Поэтому, без колебанья,
Вас заклинаю, как друзей:
завидев в кадре надпись «Баня»,
Вы ни на миг не верьте ей.

Как эпизод ни странен, я бы
сказала: суть его проста!
Здесь только вывеска — от яви,
все остальное — прихоть сна.

Когда Художник холст затеял,
он видел струны и смычок.
Был в памяти его затерян
оркестр, печальный, как сверчок.

Приснился он совсем не к месту —
сверчок, забывший свой шесток.
Оплошность мы простим оркестру
за то, что музыку исторг.

Сомненья лишние отбросьте,
не так загадка мудрена, —
мы в сне чужом всего лишь гости
и наше дело сторона.

Лик. А Художник ищет блика.
Бывало ль с Вами то, что с ним?
Порой прекрасное так близко,
а мы зачем-то вдаль глядим.

МОРЕ

Погрезим о морском просторе!
Там синь, сиянье, там весна.
Хоть в сне чужом увидеть море —
и то заманчиво весьма.

А вот и добрый друг растений,
жарой полуденной томим.
Он, кажется, и сам растерян,
что снится именно таким.

Зачем он согласился сниться?
Ах, беспокойство, маета!
Причем здесь лошадь и возница?
И форм античных чистота?

СКУЛЬПТУРА

Друзья, победа и блаженство!
О сновиденья произвол!
Художник ищет совершенства —
неужто он его нашел?

Удел художника, поэта
наверно именно таков:
у классики просить совета,
ответа ждать от мастеров.

Разъятая на части цельность —
лишь символ творческих невзгод.
Художник ищет драгоценность
гармонии — и он найдет.

Прекрасный, цельный образ мира
взойдет пред ним когда-нибудь.
Боюсь, что я Вас утомила.
Позвольте мне передохнуть.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

Луг зеленый, чистый дождик...
Может, в этом выход твой?
Что же ты, наш друг Художник,
поникаешь головой?

Песенка еще не спета,
не закончены труды.
Не послушать ли совета
неба, дерева, травы?

Ты дошел до поворота,
от сомнений изнемог.
Слушай — вечная природа
подает тебе намек.

Вникни взглядом просветленным
в прелесть женского лица
и прочти в листе зеленом
тайну нотного листа.

ХУДОЖНИК

Вы скажете, что не разумен
мой довод, но сдается мне,
что тот, кто наяву рисует,
порой рисует и во сне.

Вся эта маленькая повесть —
попытка догадаться, как
вершит Художник тяжкий поиск
и что живет в его зрачках.

И вы не будьте слишком строги
к тому, что на экран легло.
Тем более, что эти строки
мне доставались нелегко.

Смотрите, если интересно,
побудьте без меня сейчас.
Не думал вовсе автор текста,
что он догадливее Вас.

МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА

Художник медлит, дело к полдню.
Срок сна его почти истек.
Я голосом моим наполню
его безмолвный монолог.

«Я мучался, искал, я страдал
собою стать, и все ж не стал.
Я спал, но напряженьем страшным
я был объят, покуда спал.

Отчаявшись и снова веря,
я видел луг, и на лугу
меня не отпускало время,
и я был перед ним в долгу.

Хотел я стать светлей и выше
всего, чем я недавно был.
И снова ничего не вышло.
Я холст напрасно погубил».

Он самому себе экзамен
не сдал. Но все это смешно.
Он спит и потому не знает,
что это — сон или кино.

Он выхода пока не видит.
Лежит, упав лицом в траву.
Во сне — не вышло. Может, выйдет
немного позже, наяву.

ДЕВУШКА

Мы рассуждаем про искусство.
Но речь пойдет и о любви.
Иначе было б очень скучно
следить за этими людьми.

Взгляни внимательней, пристрастней:
холсты, луга, стихи, леса —
все ж не бессмертной, не прекрасней
живого юного лица.

Не знаем мы, что будет дальше,
что здесь всерьез, а что игра.

Но пожелаем им удачи,
любви, искусства и добра.

ГОРОД

Кажется, на этот раз Художник обрел то, что искал. А что будет с ним в следующий раз, — мы не узнаем, разве что приедем в Тбилиси и придем к нему в мастерскую. Не взыщите, если эта история показалась Вам замысловатой. Так или иначе — она кончается. Но помните — я задолжала Вам одну рифму.

О зритель, ты бывал в Тбилиси?
Там в пору наших холодов
цветут растения в теплице
проспектов, улиц и садов.

Там ты найдешь друзей надежных.
Пусть дружба их тебя хранит.
Там жил да был один Художник,
который всех благодарит
за благосклонное внимание...

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ОТ АВТОРА

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком само-

уверенной и несовременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии—Стопани—была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представ-

ляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!
Мой стебелек, желающий прибавки,
вытягивать магнитною звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
— Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,

как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:

— Чур, чур!

Ты кто?

Рассейся, слабая туманность! —

Я говорю:

— Я — нечто.

Я — чуть-чуть,

грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о жизнь, твой острый, бьющий
в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

— Не дождёшься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чём торжественно клянусь

жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.

—Помолчи. Я—вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простака недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы

поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я — искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожити неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!»—и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змня,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!

Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но богатым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой,
но некогда в российское село —
ура, ура!—шут прибыл итальянский.

А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нем зов твоего соблазна,

так влажен образ твой между ресниц,
что он — о, ужас! — в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? — все игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я — тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, —
все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вдох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,

во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.
...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам ходит,
старье берет или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрей принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а все ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
все ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озиаться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облегли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле—пахарь, а в воинстве—воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбежна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая была ей так к лицу
и за которую ей все прощалось.

А далее все шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопаши.

6

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.

Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупой да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный. И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.
О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.
Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лед так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.
Малый разум мой вырос в огромный мотор,

вкруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.
В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!
Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда — позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной повизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века

мерцает лбом симбирский гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед
земных растений, труд ему угоден.
Но все ж он бездыханен, слеп и мертв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но все же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,

но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

Всем, кто бушты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой поражаю
и засов задвину сам.
В чем клянусь верностью государю
императору
и здоровьем милых дам.

О. распущенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет

леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
все кричит, имеет цвет.
Слава богу, власть жандарма
все, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны ни копейки не дал.)
Знают люди, знают дети:
я — бессмертен. Я — жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маевок бабушка моя
песет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?

Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» — «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а все же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и растилялся,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг—мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Все ждет. И ей—то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей все нужней, все тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребенка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рев сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трех этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,

как бредущий в степи человек
близость звезд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже все ближе, все верней
расчет, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Все непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолет,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но куда нет меня.
Я—где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Апчи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —

ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в легких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.

Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!
Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.
Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я — умник, много лет проживший, —
я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
все ж есть свое благополучье.
Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.
Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире

все выбиваешь клювом глупым?
Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прямо позвоночник, как антенна.
Но для чего же мне во вред
ему пройти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?
Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?
Моих друзей он станет звать
своими? Все наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?
А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?
Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадудки!
И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,

меня спускают с тетивы
стрелой с тонкою спиною.
Веселый центрбежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!
Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.
О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!
Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!
— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.
Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.
Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

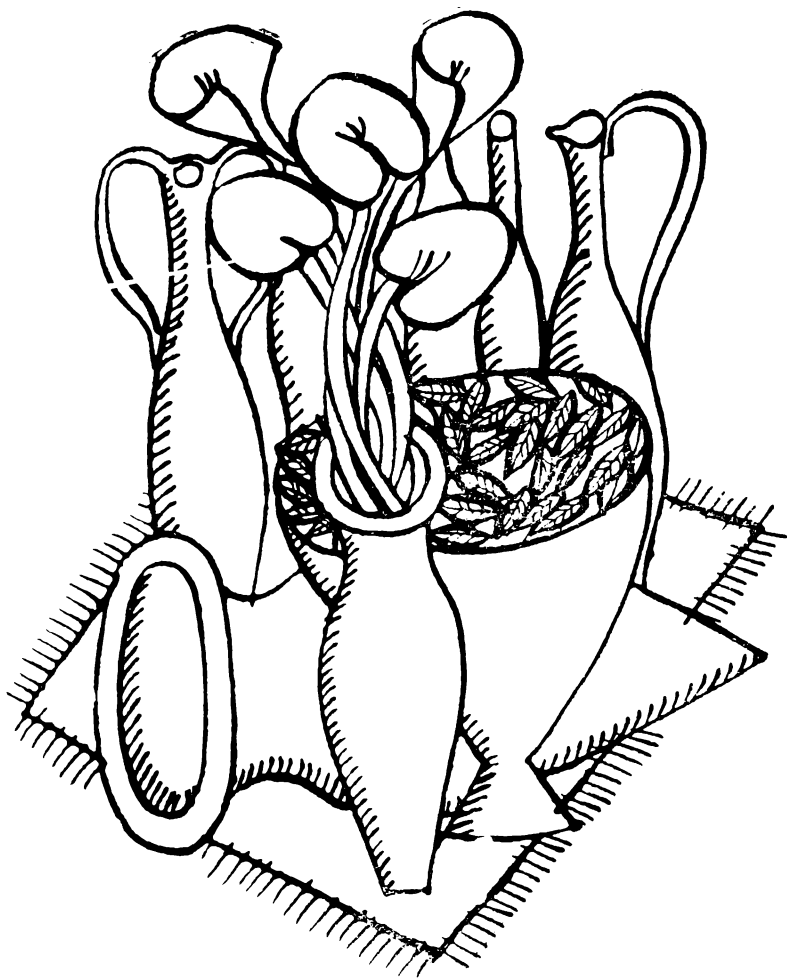
Каков мерзавец! Но, средь всех затей,
любой наш год — утешен, обнадужен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.
И в их великий и всемирный рев,

захлебом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым острием,
вонзился мой, ожегший губы голос!
Пусть вечно он благодарит тебя,
земля меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.
Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.
Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом—воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?
Я не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала все это Ахмадулина

Белла Ахатовна.
Год рождения — 1937. Место
рождения —
город Москва.



Переводы

Николоз Бараташвили

МЕРАНИ

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу люблю.
Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость
страстная —

Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.
Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия.
Не жалея, не щади твоего безрассудного всадника!

Пусть отчизну покину, лишу себя друга и сверстника,
Не увижу родных и любимую, сладкоречивую, —
Но и в небе чужбины звезда моей родины светится,
Только ей я поведаю тайну страдания чистую!

Все, что в сердце осталось, — влеку я во мглу голубую,
Все, что в разуме живо, — безумному бегу дарую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!

Пусть не ведать мне ласки родного кладбища пустынного,
Тени предков со мной не поделятся миром и славою!
Черный ворон мне роет могилу средь поля постылого.
И останки костей моих будут для вихря забавою.

Не сойдутся родные — простить мне грехи и провинности,
Не заплачет любимая — крикнут голодные коршуны!
Мчись, Мерани, вперед, за пределы судьбы меня вынеси,
Не бывал я покорным и впредь не узнаю покорности!

Пусть отвергнутый всеми и проклятый всеми, умру я.
Враг судьбы — презираю разящую силу слепую!
Мчись, Мерани, пока не упал я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!
Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой над
пропастью.
Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую, Мерани мой,
Мы полет затевали, гнушаясь расчетом и робостью!

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу любую.
Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О друзья, лишь поэзия прежде, чем вы,
прежде времени, прежде меня самого,
прежде первой любви, прежде первой травы,
прежде первого снега и прежде всего.

Наши души белеют белее, чем снег.
Занимается день у окна моего,
и приходит поэзия прежде, чем свет,
прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?
Лишь последнего жду я венка твоего,
и уже заклинанья срываются с губ:
Жизнь, и Смерть, и Поэзия—прежде всего.

ТЕБЕ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

Тебе тринадцать лет. О старость этих
двух рук моих! О добрый мир земной,
где детские уста всех арифметик
тринадцать раз смеются надо мной!
Я путаюсь в тринадцати решеньях —

Как весело! Как голова седа!
Тринадцать пуль отлей мне, оружейник,
и столько ж раз я погублю себя.
О девочка, ребенок с детским жестом,
привставшая над голубым мячом,
как смело ты владеешь вечно женским
и мудрым от рождения плечом.
Я возведен — о точность построенья! —
причудой несчастливого числа
в тринадцатую степень постаренья.
О, как, шутник, твоя слеза чиста!

ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО

Опять смеркается, и надо,
пока не смерклось и светло,
следить за увяданьем сада
сквозь запотевшее окно.

Давно ли, приминная гравий,
я здесь бродил, и на виду,
словно букет меж чистых граней,
стояло дерево в цвету.

Как ипоземная царевна,
казало странные черты,
и пахли горько и целебно
им оброненные цветы.

Его плодов румяный сахар
я собирал между ветвей.

Оно смеялось — добрый знахарь
той детской радости моей.

И все затем, чтоб днем печальным
смотреть немея, не дыша,
как в легком выдохе прощальном
возносится его душа.

И — все охвачено верченьем,
круженьем, и в глазах темно.
Как будто в небе предвечернем,
в саду моем красным-красно.

Сиротства огненный оттенок
ложится на лицо и грудь,
обозначается на стенах
в кирпич окрашенная грусть.

Я сам, как дерево седое,
внутри оранжевой каймы
над пламенем и над водою
стою в предчувствии зимы.

М Е Р И

Венчалась Мери в ночь дождей,
и в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
восставших между мной и ей,
и я поцеловал те двери.

Я знал — там упадают ниц,
колечком палец награждают.
Послушай! Так кольцуют птиц!
Рабынь так рабством утруждают!

Но я забыл твое лицо!
Твой профиль нежный, твой дикарский,
должно быть, темен, как крыльцо
ненастной порой декабрьской?

И ты, должно быть, на виду
толпы заботливой и праздной
прносишь белую фату,
как будто траур безобразный?

Не хорони меня! Я жив!
Я счастлив! Я любим судьбою!
Как запах приторен, как лжив
всех роз твоих... Но бог с тобою.

Не ведал я, что говорю, —
уже рукою обрученной
и головою обреченной
она склонилась к алтарю.

И не было на них суда —
на две руки, летящих мимо...
О, как я молод был тогда.
Как стар теперь.
Я шел средь дыма,

вкруг дома твоего плутал,
во всякой сомневался вере.

Сто лет прошло. И, как платан,
стою теперь.
Кто знает, Мери,

зачем мне показалось вдруг,
что нищий я?—И в эту осень
я обезумел — перстни с рук
я снимал и кинул оземь?

Зачем «Могильщика» я пел?
Зачем среди луж огромных плавал?
И холод бедственный терпел,
и «Я и ночь» читал и плакал?

А дождик лил всю ночь и лил
все утро, и во мгле опасной
все плакал я, как старый Лир,
как бедный Лир, как Лир прекрасный.

С Н Е Г

Лишь бы жить, лишь бы пальцами трогать,
лишь бы помнить, как подле моста
снег по-женски закидывал локоть,
и была его кожа чиста.

Уважать драгоценную важность
снега, павшего в руки твои,
и нести в себе зимнюю влажность
и такое терпенье любви.

Да уж поздно. О милая! Стыну
и старею.
О взлет наших лиц —
в снегопаданье, в бархат, в пустыню,
как в уют старомодных кулис.

Было ль это? Как чисто, как крупно
снег летит... И, наверно, как встарь,
с январем побрататься нетрудно.
Но минуй меня, брат мой, январь.

Пролетание и прохожденье —
твой урок я усвоил, зима.
Уводящее в вечность движенье
омывает нас, сводит с ума.

Дорогая, с каким снегопадом
я тебя отпустил в белизну
в синем, синеньком, синеватом
том пальтишке — одну, о одну?

Твоего я не выследил следа
и не выгадал выгоды нам —
я следил расстиланье снега,
его склонность к лиловым тонам.

Как подумаю — радуг неровность,
гром небесный, и звезды, и дым —
о, какая нависла огромность
над печальным сердечком твоим.

Но с тех пор, властью всех твоих качеств,
снег целует и губит меня.

О запинок, улыбок, чудачеств
снегопад среди белого дня!

Ты меня не утетишь свободой,
и в великом терпенье любви
всю белой и синей природой
ты ложишься на плечи мои.

Как снежит... И стою я под снегом
на мосту, между двух фонарей,
как под плачем твоим, как под смехом,
как под вечной заботой твоей.

Все играешь, метелишь, хлопочешь.
Сжался же, наконец, надо мной —
как-нибудь, как угодно, как хочешь,
только дай разминуться с зимой.

ОРЛЫ УСНУЛИ

Вот сказки первые слова:
орлы уснули, как орлята,
и у орлов в часы заката
ко сну клонится голова.

Орлы, прошу вас, не теперь,
нет, не теперь смежайте очи!
Но спите—и огонь среди ночи
походкой женской входит в дверь.

В дверь ваших гор и облаков
кулак оранжевый стучится,
и знает, что беда случится,
семейство прозорливых сов.

Но спите вы, как детвора,
там, в ваших сумерках неверных,
и трубы ваших снов военных
молчат, не говорят: «Пора!»

О пламя, не обидь орла!
Спасутся маленькие птахи,
меж тем, как обгорят на плахе
два величавые крыла.

Но поздно! Перья их на треть
ожог губительный отметил.
Не дай мне бог, как птицам этим,
проснуться, чтобы умереть.

С веселой алчностью орды
плясал пожар, и птиц оравы
влетали, и у вод Арагвы
поникли головой орлы.

«Я видел ворона. Дрожа
от низости, терзал он тело,
что брезговать землей умело
и умерло», — сказал Важа.

СКОРЕЕ — ЗНАМЕНА!

Светает! И огненный шар
раскаленный встает из-за моря...
Скорее — знамена!
Возжаждала воли душа
и, раннюю ранью, отвесной тропею,
раненой ланью опеша,
летит к водопою...
Терпеть ей осталось немного.
Скорее — знамена!
Слава тебе, муку принявший
и павший в сражении витязь!
Клич твой над нами витает:
— Идите за мною, за мною!
Светает!
Сомкнитесь, сомкнитесь, сомкнитесь!
Знамена, знамена...
Скорее — знамена!

ПЛАТАНЫ ШИНДИСИ

С чем платаны Шиндиси сравню?
С чем сравню той поры несравненность?
Ее утро, ведущее к дню,
ее детских молитв откровенность?
С чем тебя я сравню, моя мать?
Что ж не брошусь я к скважинам, щелкам,

к окнам, чтобы на миг увидеть,
как идешь, как белеешь ты шелком?

О платаны в Шиндиси моем!
Я не понял закона простого —
да, напомним одно о другом,
но одно не заменит другого.

Так о детстве всерьез и шутя
я заплакал, отверженный странник.
Уж не я, а иное дитя
его новый и милый избранник.

Нет замены вокруг ничему:
ни пичужке порхающей в выси,
ни цветку, ни лицу мосму,
ни платанам в далеком Шиндиси.



Мир состоит из гор,
из неба и лесов,
мир — это только спор
двух детских голосов.

Земля в нем и вода,
вопрос в нем и ответ.
На всякое «о, да!»
доносится «о, нет!».

Среди зеленых трав,
где шествует страда,
как этот мальчик прав,
что говорит «о, да!».

Как девочка права,
что говорит «о, нет!»,
и правы все слова,
и полночь, и рассвет.

Так в лепете детей
враждуют «нет» и «да»,
как и в душе моей,
как и во всем всегда.

НАТЭЛА ИЗ ЦИНАНДАЛИ

Я птицей был, мне разрешалось,
как в небо, ринуться в силок.
Я ринулся — и все смешалось:
Натэла, Цинандали, жадность
к тебе, о виноградный сок.

Зачем я вырвался, Натэла?
Зачем освободил крыла?
Когда я вышел, ночь светлела,
была уже светлым-светла.

Уже рассветный ветер дунул,
и птиц возникли голоса,

и я о Тинатин подумал
и к небу обратил глаза.

А в небе было звезд так мало,
так нежно было и светло,
там все качалось, уплывало
и повториться не могло...

ИЗ РАССКАЗАННОГО ЛУНОЙ...

К реке подходит маленький олень
и лакомство воды лакает.
Но что ж луна так медлит, так лукавит,
и двинуться ей боязно и лень!

Ужель и для нее, как для меня,
дождаться дня и на свету погибнуть —
все ж веселей, чем, не дождавшись дня,
вас, небеса грузинские, покинуть.

Пока закат и сумерки длинны,
я ждал ее—после дневной разлуки,
и свет луны, как будто звук луны,
я принимал в протянутые руки.

Я знал наперечет ее слова,
и вот они:
— Полночною порою

в печали—зла и в нежности — слаба,
о Грузии, я становлюсь тобою.

И мне, сиявшей меж твоих ветвей,
твоих небес отведавшей однажды,
о Грузия, без свежести твоей
как дальше быть, как не устать от жажды?

Нет, никогда границы стран иных
не голубели так, не розовели.
Никто еще из сыновей земных
не плакал так, как плакал Руставели.

Еще дитя — он жил в моих ночах,
он был мне брат, не как другие братья,
и уж смыкались на его плечах
прекрасного несчастья объятья.

Нет, никогда границы стран иных... —
я думала, — и, как сосуд, как ваза
с одним цветком среди граней ледяных,
сияли подо мной снега Кавказа.

Здесь Амирани бедствие терпел,
и здесь освобожден был Амирани,
и женский голос сетовал и пел,
и царственные старцы умирали.

...Так и внимал я лепету луны,
и был восход исходом нашей встречи.
И вот я объяснил вам эти речи,
пока закат и сумерки длинны.



Все желтое становится желтей,
и радуга семь раз желта над нами,
и россыпь драгоценных желудей
все копит дуб и нежит меж корнями.

Все — в паутине, весело смотреть,
как бьется в ней природа пред зимою.
Счастлив рыбак, который эту сеть
наполнил золотою чешуею.

Пока в дубах стозвонный звон стоит
и шум летит над буркою Арсена,
прикосновеньем осень осенит
все то, что было неприкосновенно.



Брат мой, для пеня пришли, не для распрей,
для преклоненья колен пред землею,
для восклицанья:

— Прекрасная, здравствуй,
жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани
алою влагой?

Кем солнце ведомо,
чтоб в осиянных долинах Арагви
зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрет, не заметив,
смертью займется, как будничным делом...
О, что мне делать с величием этим
гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
чем этой родины невероятной
видеть красу

и от слез удержаться.

Где еще Грузия—Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть
и крайняя крайность!

Что понукает движение крови
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рожден я — рожден не на время,
а навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу, и бессмертия бремя
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

МОЙ ПАОЛО И МОЙ ТИЦИАН

Склон Удзо высокой луной осиян.
Что там происходит? Размолвка, помолвка
у соловьев? Как поют, Тициан!
Как майская ночь неоглядна, Паоло!

Вином не успел я наполнить стакан,
не вышло! Моими слезами он полон.
Во здравье, Паоло! За жизнь, Тициан!
Я выжил! Зачем, Тициан и Паоло?

Вином поминальным я хлеб окропил,
но мне ваших крыл не вернуть из полета
на грешную землю, где горек мой пир.
Эгей, Тициан! Что мне делать, Паоло?

Пошел бы за вами—да бог уберег.
Вот вход в небеса—да не знаю пароля.
Я пел бы за вас—да запекся мой рот.
Один подниму у пустого порога
слезами моими наполненный рог,
о братья мои, Тициан и Паоло...



Чего еще ты ждешь и хочешь, время?
Каких стихов ты требуешь, ответствуй!
Дай мне покоя! И, покоем вея,
дай мне воды, прозрачной и отвесной.

Зачем вокруг выи духоту смыкаешь?
Нет крыл моих. Нет исцеленья ранам.
Один стою. О, что ты сделал, Каин!
Твой мертвый брат мне приходился братом.



Как в Каспийской воде изнывает лосось,
на камнях добывает ушибы и раны
и тоскует о том, что кипело, неслоь,
и туманилось, и называлось: Арагви, —
так тянусь я к тебе, о возлюбленный край!
Отчий край, приюти в твоём будущем русле
мою душу—вместилище скорби и ран.
Помещусь ли я в искре твоей, помещусь ли?

НАЧАЛО

О стихи, я бы вас начинал,
начиная любое движенье.
Я бы с вами в ночи ночевал,
я бы с вами вступал в пробужденье.
Но когда лист бумаги так бел,
так некстати уста молчаливы.
Как я ваших приливов робел!
Как оплакивал ваши отливы!
Если был я присвоить вас рад,
вы свою охраняли отдельность.
Раз, затеяв пустой маскарад,
вы моею любимой оделись.
Были вы — то глухой водоем,
то подснежник на клумбе ледовой,
и болели вы в теле моем,
и текли у меня из ладоней.
Вас всегда уносили плоты,
вы погоне моей не давались,
и любовным плесканьем плотвы
вы мелькали и в воду скрывались.
Так, пока мой затылок сидел
и любимой любовь угасала,
я с пустыми руками сидел,
ваших ласк не отведав нисколько.
Видно, так голубое лицо
звездочет к небесам обращает,

так девчонка теряет кольцо,
что ее с женихом обручает.
Вот уже завершается круг.
Прежде сердце живет стучало.
И перо выпадает из рук
и опять предвкушает начало.

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу
в честь раковины, найденной в земле.
Ты послужила морю молодому,
теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.
В нем знак печали, вечной и мирской.
А в раковине — воскресают звуки,
умершие средь глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы
и шелест флагов, буйный и цветной.
И шепчут ее сомкнутые губы,
и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещий
хотел бы в сердце обрести своем,
чтоб соль морей и песни человечьи
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить среди прочих шумов — милый шум детства, различимый в тишине. Пусть так и будет. И на дне могилы пусть все звучит и бодрствует во мне.

Пускай твой кубок звуки разливает и все же ими полнится всегда. Пусть развлечет меня — как развлекает усталого погонщика звезда.



Две округлых улыбки — Телети и Цхнети, и Кумиси и Лиси—два чистых зрачка. О, назвать их опять! И названия эти затрудняют гортань, как избыток глотка.

Подставляю ладонь под щекотную каплю, что усиьем всех мышц высекает гора. Не пора ль мне, прибегнув к алгетскому камню, высечь точную мысль красоты и добра?

Тих и женственен мир этих сумерек слабых, но Кура не вполне обновила волну и, как дуб, затвердев, помнит вспылчивость сабель, бег верблюжьих копыт, означавший войну.

Этот древний туман так не полон—в нем стрелы многих луков пробили глубокий просвет.

Он и я—мы лишь известь, скрепившая стены
вкруг картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сражусь на восходе и с кем на закате,
чтоб хранить равновесье двух разных огней:
солнце там, на Мтацминде, луна на Махате,
совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слежу за лесами,
небесами, за посветлевшей водой.
Уж с Гомборской горы упадает в Исани
первый луч — неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!
И тесал их и мучил, как слово лепил
Превозмог и освоил цвет белый и синий.
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы
я жестоко и нежно привил к миндалю,
поместил ее точно под солнце и ливни.
И все выдумки эти Тбилиси дарю.

МЕТЕХИ

Над Метехи я звезды считал,
письменам их священным дивился.
В небесах, как на древних щитах,
я разгадывал знаки девиза.

Мне всегда объясняла одно
эта клинопись с отсветом синим —
будто бы не теперь, а давно,
о Метехи, я был твоим сыном.

Ты меня создавал из ребра,
из камней твоих сокровенных,
и наказывал мне серебра
не жалеть для нарядов военных.

Пораженный монгольской стрелой,
я дышал так прощально и слабо
под твоей крепостною стеной,
где навек успокоился Або.

За Махатской горой много дней
ты меня окунал во туманы,
колдовской паутиной твоей
врачевал мои бедные раны.

И когда-то спасенный тобой,
я пришел к тебе снова, Метехи.
Ворожи над моей головой,
обнови золотые доспехи.

Одари же, как прежде, меня
Иорским облаком и небесами,
подведи под уздцы мне коня,
чтоб скакать над холмами Исани.

А когда доскажу все слова
и вздохну так прощально и слабо,
пусть коснется моя голова
головы опечаленной Або.

ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...

Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит
и среди тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.

Где-то рядом, у глаз и у щек,
драгоценный узор уже соткан —
шелкопряды мотают свой шелк
на запястья верийским красоткам.

Вся дрожит золотая блесна,
и по милости этой погоды
так далекая юность близка,
так свежо ощущение свободы.

О, ходить, как я хаживал, впредь
и твердить, что пора, что пора ведь
в твои очи сквозь слезы смотреть
и шиповником пальцы поранить.

Так сияй своим детским лицом!
Знаешь, нравится мне в этих грозах,
как стоят над жемчужным яйцом
аистихи в затопленных гнездах.

Как миндаль облетел и намок!
Дождь дорогу марает и моет —
это он подает мне намек,
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в тутовых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим эти речи на миг,
лишь на миг прекратим эти речи.

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Я в семь часов иду — так повелось —
по набережной, в направленье дома,
и продавец лукавый папирос
мне смотрит вслед задумчиво и долго.

С лотком своим он на углу стоит,
уставится в меня и не мигает.
Будь он неладен, взбаломошный старик.
Что знает он, на что он намекает?

О, неужели ведомо ему,
что, человек почтенный и семейный,
в своем дому, в своем пустом дому,
томлюсь я от чудачеств и сомнений?

Я чиркну спичкой — огонек сырой
возникнет. Я смотрю на это тленье,
и думы мои бродят над Курой,
как бы стада, что ищут утоленья.

Те ясени, что посадил Важа,
я перенес в глубокую долину,
и нежность моя в корни их вошла,
и щедро их цветеньем одарила.

Я сердце свое в тонэ закалил,
и сердце стало вспылчивым и буйным.
И все ж порою из последних сил
тянул я лямку — одинокий буйвол.

О старость, приговор твой отмени
и детского не обмани доверья.
Не трогай палисадники мои,
кизиловые не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.
От молодости я изнемогаю —
пока живу, пока растет трава,
пока люблю, пока стихи слагаю.

ОТ ЭТОГО ПОРОГА...

От этого порога до того
работы переделал я немало.
Чинары я сажал — в честь твоего
лица, что мне увидеть предстояло.

Пока я отыскал твои следы
и шел за ними, призванный тобою,
состарился я. Волосы седые.
Ступни мои изнурены ходьбою.

И все ж от этой улицы до той
я собирал оброненные листья,
и наблюдали пристально за мной
прохожих озадаченные лица.

То солнце жгло, то дождик лил—всего
не перескажешь. Так длинна дорога
от этого порога до того
и от того до этого порога.

И все-таки в том стареньком доме
все нашими населено следами,
и где-то там, на чердаке, в дыму,
лежит платок с забытыми слезами.

От этого и до того огня
ты шила мне мешок для провианта.
Ты звездную одела на меня
рубаху. Ты мешок мой проверяла.

От этого порога до того
я шел один среди жары и стужи,
к бокам коней прикладывал тавро,
и воду пил, толлок я воду в ступе.

Я плыл по рекам и не знал — куда,
и там, пока плыла моя пирога,
я слышал, как глаголила Кура, —
от этого и до того порога.

ОЛЕНИ НА ГУМНЕ

Я молод был. Я чужд был лени.
Хлеб молотил я на гумне.
Я их упрашивал:
— Олени!
Олени, помогите мне!

Они послушались. И славно
работали мы дотемна.
О, как смеялись мы, как сладко
дышали запахом зерна!

Нас солнце красное касалось
и отражалось в их рогах.
Рога я трогал—и казалось,
что солнце я держу в руках.

Дома виднелись. Их фасаду
закат заглядывал в лицо.
И вдруг, подобная фазану,
невеста вышла на крыльцо.

Я ей сказал:
— О, совпадение!
Ты тоже здесь? Ты — наяву?
Но будь со мной, как сновиденье,
когда засну, упав в траву.

Ты мне привидишься босая,
босая, на краю гумна.
Но, косы за плечи бросая,
ты выйдешь за пределы сна.

И я скажу тебе:
«Оденем
оленям на рога цветы.
Напьемся молоком оленьим
иль буйвольим — как хочешь ты».

Меж тем смеркается, и вилы
крестьянин прислонил к стене,

и возникает запах винный,
и пар клубится на столе.

Присесть за столик земледельца
и, в сладком предвкушении сна,
в глаза оленьи заглядеться
и выпить доброго вина...

БЫКИ

Что за рога украсили быка!
Я видел что-то чистое, рябое,
как будто не быки, а облака
там шли, обремененные арбою.

Понравились мне красные быки.
Их одурманил запах урожая.
Угрюмо напряженные белки
смотрели добро, мне не угрожая.

О, их рога меня с ума свели!
Они стояли прямо и навесно.
Они сияли, словно две свечи,
и свечи те зажгла моя невеста.

Я шел с арбой. И пахло все сильнее
чем-то осенним, праздничным и сытым.
О виноградник юности моей,
опять я янтарем твоим осыпан.

Смотрю сквозь эти добрые рога
и вижу то, что видывал когда-то:
расставленные на лугу стога,
гумно и надвижение заката.

Мне помнится — здесь девочка была,
в тени ореха засыпать любила.
О женщина, ведущая быка,
сестра моя! Давно ли это было?

Прими меня в моих местах родных
и одари теплом и тишиною!
Пусть светлые рога быков твоих,
как месяцы, восходят надо мною.

АНАНИЯ

Люблю я старинные эти старания:
сбор винограда в ущелье Атени.
Волов погоняет колхозник Анания,
по ягодам туты ступают их тени.

Пылает оранжевым шея вола!
Рогам золотым его — мир и хвала!
Сквозь них мне безмерная осень видна.
Уже виноград претерпел умиранье.

Но он воскресает с рождением вина,
в младенчестве влаги, что зрела века.
Ведь эта дорога и прежде вела
туда, где хранит свои тайны марани.

Ах, осени этой труды и сияния!
А вон и ореха обширная крона, —
как часто под ней засыпал ты, Анания,
и было лицо твое славно и кротко.

Меж тем вечереет, и, в новой длине,
все тени бредут в неживой вышине,
как луны, мерцают волы при луне,
и столько добра и усталости в теле.

Как часто все это припомнится мне:
тяжелые скрипы арбы в тишине
и, в мирном и медленном лунном огне,
Анания, и волы, и Атени...

В СИГНАХИ, НА ГОРЕ

Я размышлял в Сигнахи, на горе,
над этим миром, склонным к переменам.
Движенье неба от зари к заре
казалось мне поспешным и мгновенным.

Еще восхода жив и свеж ожог
и новый день лишь обретает имя,
уже закатом завершен прыжок,
влекущий землю из огня в полымя.

Еще начало! — прочности дневной
не научились заново колени.

Уже конец! — сомкнулось надо мной
ночное благо слабости и лени.

Давно ли спал младенец-виноград
в тени моей ладони утомленной?
А вот теперь я пью вино и рад,
что был так добр к той малости зеленой.

Так наблюдал я бег всего, что есть,
то ликовал, то очень огорчился,
как будто, пребывая там и здесь,
раскачивал качели и качался!

ГРЕМСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Всему дана двойная честь
быть тем и тем:
предмет бывает
тем, что он в самом деле есть,
и тем, что он напоминает.

Я представлял себе корабль
всегда, когда смотрел на Греми.
Каким небесным якорям
дано держать его на гребне?

Я знал — нет смерти на земле,
нет ничему предела, если
опять, о Греми, на заре
твои колокола воскресли.

Вкусивший пибели не раз,
твой грозный царь, поэт твой бедный,
опять заплакал Теймураз,
тобой возвышенный над бездной.

Кахетии так тяжела
нагрузка кисти виноградной.
Вокруг покой и тишина
и урожая вид нарядный.

От заслонивших очи слез
в счастливом зрительном обмане,
твой странник, Гречи, твой матрос,
гляжу, как ты плывешь в тумане.

ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ

Теперь и сам я думаю: ужели
по той дороге, странник и чудаки,
я проходил?
Горвашское ущелье,
о, подтверди, что это было так.

Я проходил. И детскую прилежность
твоей походки я увидел.
Ты
за мужем шла покорная,
но нежность,
сиянье нежности возшло из темноты.

Наши глаза увиделись.
Ревниво
взглянул твой муж.
Но как это давно
случилось.
И спасла меня равнина,
где было мне состариться дано.

Однако повезло тому, другому, —
не ведая опасности в пути,
по той дороге он дошел до дому,
никто не помешал ему дойти.

Не гикнули с откоса печенеги,
не ухватились за косы твои,
не растрепали их.
Не почернели
глаза твои от страха и любви.

И, так и не изведавшая муки,
ты канула, как бедная звезда.
На белом муле, о, на белом муле
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Но все равно — на этом перевале
ликует и живет твоя краса.
О, как лукавили, как горевали
глаза твои, прекрасные глаза.

ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ

А после — шаль висела у огня,
и волосы, не знавшие законов
прически, отряхнулись от заколок
и медленно обволокли меня.

Я в них входил, как бы входил в туман
в горах сванетских, чтобы там погибнуть,
и все-таки я их не мог покинуть,
и я плутал в них и впадал в обман.

Так погибал я в облаке твоём.
Ты догадалась — и встряхнула ситом,
пахнуло запахом земным и сытым,
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.

Очаг дышал все жарче, все сильнее.
О, как похожи были ты и пламя,
как вы горели трепетно и плавно,
и я гостил меж этих двух огней.

Ты находилась рядом и вокруг,
но в лепете невнятного наречья,
изогнутою, около Двуречья
тебя увидеть захотел я вдруг.

Чуть не сказал тебе я: «О лоза,
о нежная, расцветшая так рано...»
В Сванетии не знают винограда,
я не сказал. И я закрыл глаза.

Расстались мы. И вот, скорей старик,
чем мальчик, не справляюсь я с собою,

и наклоняюсь головой седую,
и надо мной опять туман стоит.

Верни меня к твоим словам, к рукам.
Задуманное облакам поведай,
я догадаюсь—по дождю, по ветру.
Прошу тебя, поведай облакам!

ДЕВЯТЬ ДУБОВ¹

Мне снился сон — и что мне было делать?
Мне снился сон — я наблюдал его.
Как точен был расчет — их было девять:
дубов и дэвов. Только и всего.

Да, девять дэвов, девять капель яда
на черных листьях, сникших тяжело.
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,
я не забыл то древнее число.

Вот девять гор, сужающихся кверху,
как бы сосуды на моем пути.
И девять пчел слетаются на квеври,
и квеври тех — не больше девяти.

Я шел, надежду тайную лелея
узнать дубы среди других лесов.

¹ Число девять считалось в народе магическим (девять дорог, девять гор, девять корней и т. д.). Девять дубов—символ непоколебимости, силы, долговечности народа.

Мне чудится — они поют «Лилео».
О, это пенье в девять голосов!

Я шел и шел за девятью морями.
Число их подтверждали неспроста
девять ворот, и девять плит Марабды¹,
и девяти колодцев чистота.

Вдруг я увидел: посреди тумана
стоят деревья. Их черты добры.
И выбегает босиком Тамара
и девять раз целует те дубы.

Я исходил все девять гор. Колени
я укрепил ходьбою. По утрам
я просыпался радостный. Олени,
когда я звал, сбегали по горам.

В глаза чудес, исполненные света,
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О, девять раз изведавшему это
не боязно однажды умереть.

Мои дубы помогут мне. Упрямо
я к их корням приникну. Довезти
меня возьмется буйволов упряжка.
И снова я сочту до девяти.

¹ Девять плит Марабды — девять могил братьев Херхелидзе, героически погибших в битве при Марабде.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕРАФИТЕ

Во время археологических раскопок древней картлийской столицы Армази, близ Мцхеты, была обнаружена гробница юной и прекрасной девушки — Серафиты, чей облик чудом сохранился до наших дней в своей живой прелести. В гроб ее проник корень гранатового дерева, проскользнувший в кольцо браслета.

РАЗДУМЬЯ О СЕРАФИТЕ

Как вникал я в твоё многолетие, Мцхета.
Прислонившись к тебе, ощущал я плечом
мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета,
вдох стены, затруднённый огромным плющом.

Я хотел приобщить себя к чуждому ритму
всех старений, столетий, страстей и смертей.
Но не сведущий в этом, я звал Серафиту,
умудренную возрастом звезд и детей.

Я сказал ей: — Тебе все равно, Серафита:
умерла, и воскресла, и вечно жива.
Так явился мне воочью, как эта равнина,
как Армази, созвездия и дерева.

Не явилась воочью. Невнятной беседой
искушал я напрасно твою немоту.
Ты—лишь бедный ребенок, случайно бессмертный,
но изведавший смерть, пустоту и тщету.

Все тщета! — я подумал. — Богатые камни
неусыпных надгробий — лишь прах, нищета.

Все тщета! — повторил я. И вздрогнул: — А
Картли?
Как же Картли? Неужто и Картли — тщета?

Ничего я не ведал. Но острая влага
округлила зрачок мой, сложилась в слезу.
Вспомнил я — только ель, ежевику и благо,
снизошедшее в этом году на лозу.

И пока мои веки печаль серебрила,
и пугал меня истины сладостный риск,
продолжала во веки веков Серафита
красоты и бессмертия детский каприз.

Как тебе удалось — над убитой боями
и воскресшей землею, на все времена,
утвердить независимый свет обаянья,
золотого и прочного, словно луна?

Разве может быть свет без источника света?
Или тень без предмета? Что делаешь ты!
Но тебе ль разделять здравомыслие это
в роковом заблужденье твоей красоты!

Что тебе до других? Умирать притерпелись,
не умеют без этого жить и стареть.
Ты в себе не вольна — неизбывная прелесть
не кончается, длится, не даст умереть.

Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость
небесам над Армази большая звезда, —
всем дано претерпеть эту муку и благодать,
ничему не дано миновать без следа.

ЗОВУ СЕРАФИТУ

Не умерла, не предана земле.
Ты — на земле живешь, как все.
Но разве,
заметив боль в пораненном крыле,
не над тобою плакал твой Армази?

О, как давно последние дары
тебе живая суета дарила!
С тех пор я жду на берегах Куры,
и засухой опалена долина.

Не умерла. И так была умна,
что в спешке доброты и нетерпенья
достиг твой шелест моего гумна:
вздых тишины и слабый выдох пенья.

Что делаешь? Идешь? Или пока
тяжелым гребнем волосы неволишь?
Не торопись. Я жду тебя — века.
Не более того. Века всего лишь.

Еще помедли, но приди. Свежа
и не трудна твоя дорога в Мцхету.
Души моей приветная свеча
уже взошла и предается свету.

Уж собраны и ждут тебя плоды
и лакомства, стесненные корзиной.
Как милосердно быть такой, как ты:
сюда идущей и такой красивой.

В молчании твой голос виноват.
Воспой глубоким горлом лебединым
и виноградаря, и виноград,
и виноградники в краю родимом.

Младенческой песней умудрен,
я разгадаю древние затеи
и вызволю из тесноты времен
отцов и дедов доблестные тени.

Бессмертное не может быть мертво.
Но знает ли о том земля сырая,
ошибку ожиданья моего
оплакивая и благословляя?

Как твой удел серьезен и высок:
в мгновенных измененьях мирозданья
все бодрствует великий голосок
бессмертного блаженства и страданья.

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО
У ГРОБНИЦЫ СЕРАФИТЫ

И встретились:
бессмертья твоего
прекрасная и мертвая громада
и маленькое дерево граната,
возникшее во мгле из ничего.

Ум дерева не ведает иной
премудрости:
лишь детское хотенье

и впредь расти, осуществлять цветенье
и алчно брать у щедрости земной.

Не брезгуя глубокой тьмой земли,
в блаженном бессознании умнейшем,
деревья обращаются к умершим
и рыщут пользы в прахе и пыли.

Но что имел в виду живой росток,
перерастая должные границы,
когда проник он в замкнутость гробницы
и в ней сплоченность мрамора расторг?

Влекло его твое небытие
пройти сквозь твердь плиты непроходимой,
чтобы припасть к твоей руке родимой,
удостоверясь в тонкости ее.

С великим милосердием дерев
разнял он узкий холодок браслета
и горевал, что ты была бессмертна
лишь вечно, лишь потом, лишь умерев.

Гранат влушал запястью твоему
все то, что знал об алых пульсах крови
в больших плодах, не вмещенных в кроне
и по ночам слетающих во тьму.

Он звал тебя узнать про шум ветвей
с паивностью, присущую растениям, —
истерзанный тяжелым тяготеньем,
кровоточеньем спелости своей.

Какая же корысть владела им,
вела его в таинственные своды
явить великодушие природы —
в последний раз! — твоим рукам немым?

Не Грузии ли древней тишина
велит очнуться песенке туманной:
«Зачем так блещут слезы, мой желанный?
Зачем мне эта легкость тяжела?»

Не Грузии ли древней колдовство
вслит гранату караулить плиты
и слабое дыханье Серафиты
не упускать из сердца своего?

СКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ

В той давности, в том времени условном
что был я прежде? Облако? Звезда?
Не пробужденный колдовством любовным
алгетский камень, чистый, как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,
я был изъят из тьмы, я был рожден.
Я—человек. Я, как поющий купол,
округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,
в тот день я крикнул: — О земля моя!
Даруй мне тень! Пошли хоть малый кустик—
простить меня и защитить меня!

Там, в небесах, не склонный к проволочке,
сияющий нацелен окуляр,
чтобы вкусил я беззащитность точки,
которой алчет перпендикуляр.

Я по колено в гибели, по пояс,
я вязну в ней, тесно дышать груди.
О школьник обезумевший! Опомнись!
Губительной прямой не проводи.

Я — человек! И драгоценен пламень
в душе моей. Но нет, я не хочу
сиять заметно! Я — алгетский камень.
О господи, задуй во мне свечу!

И отдалился грохот равномерный,
и куст дышал, и я дышал под ним.
Немилосердный ангел современный
побрезговал ничтожеством моим.

И в этот мир, где пахло и желтело,
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,
я нежно вынес собственного тела
родимую и жалостную суть.

Заплакал я, всему живому близкий,
вдыхающий, трепещущий, живой.
О высота моей молитвы низкой,
я подтверждаю бедный лепет твой.

Я видел одинокое, большое
свое лицо. Из этого огня
себя я вынес, как дитя чужое,
слегка напоминавшее меня.

Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человеческое,
случайно обитавшее во мне.

И выжило оно. И над водою
стоял я долго. Я устал тогда.
Мне стать хотелось облаком, звездой,
Алгетским камнем, чистым, как вода.

ОСКОЛКИ ГЛИНЯНОЙ ЧАШИ

Некогда Амиран, рассердившись, разбил вдребезги глиняную чашу, но осколки ее, желая соединиться, с шумом и звоном улетели в небо.

Из народного сказания

...И ныне помню этот самолет
и смею молвить: нет, я не был смелым.
Я не владел своим лицом и телом.
Бежал я долго, но устал и лег.

Нет, не имел я твердости колен,
чтоб снова встать. Пустой и одинокий,
я все лежал, покуда взрыв высокий
землей чернел и пламенем алел.

Во мне скрестились холод и жара.
Свистел пропеллер смерти одичавшей.
И стал я грубой, маленькою чашей,
исполненной жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,
разбить меня, как глиняную цельность,
своим смертельным острием прицелься
в непечальный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,
глупец, мудрец, я счастлив был так часто.
А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.
И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот
я золотыми дребезгами гряну,
предамся я вселенскому туману,
на искру увеличив небосвод.

Пусть так и будет. Ночью, как-нибудь,
мелькну звездой возле созвездья Девы.
Печальные меня проводят дэвы
в мой Млечный и уже последний путь.

Разрозненность сиротская моя
воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.
И, может быть, я все ж вернусь, как аист
на милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит
твоя любовь. И все-таки—ответствуй:
кто выручит меня из мглы отвесной
и отсветы души соединит?

ЖИЗНЬ ЛОЗЫ

Новелла в четырех песнях

I

Солнце гуляет по-над берегами Иори,
зной непомерный свершился, а день в половине.
Лютное солнце спалило поля — не его ли
станем учить, как лелеять цветы полевые?
Все-таки, все-таки только природе доверюсь:
книга горы, где любая глава—виноградник,
рукопись солнца: сложенная гением ересь,
вникнуть бы в смысл этих надписей невероятных!
Чу! Виноградарей песня зовет не меня ли
зрением слез созерцать этот край изобилья?
Если умру и забудусь — небес и Манави
встреча и в том забытьи да не будет забыта!
Если б строку совершенной лозе уподобить!
Я — только голос, чтоб хору все пелось и пелось.
Я — только глаз, чтобы взгляд был всевидяще-добрым,
видя и ведая зелень, и вольность, и прелесть.
Не шелхнувшись, мгновение длится, как время.
Разве помыслишь о зле, о вражде и о вздоре?
Я не случайно избрал для любви и доверья
бег и стремленье и легкую поступь Иори.
Солнце — мое! И на радостях мне захотелось
солнце, как шапку, забросить в небесную чашу.

Тот, только тот, кто в уста целовал ркатицели,
видел светило, вмещенное в винную чашу!

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс.

Твое и мое одинаковы сердцебиенья.

Ты—прежде, ты—мастер, я—твой подражатель,

и пусты!—

Тебе посвящу ученичество стихотворенья.

II

Слава, Манави, тому, кто затеял однажды
вечность любви, и сады, и судьбу, и угожья.
Крепость в руинах, и та изнывает от жажды
верить в бессмертье цветенья и плодородья.
Мертв от рожденья, кто верит в скончание света.
Свет будет длиться — без перерыва и риска.
Ты, виноградник, поведай, как было все это:
лоз исчисление—триста, и триста, и триста.
Воздух прозрачен, как будто отсутствует вовсе,
помысел сердца в нем явственно опубликован.
Домики эти всегда помышляют о госте,
пялясь в пространство высокими лбами балконов.
Сразу, врасплох, со спины — на ликующий полдень
обрушился град, нещадная грянула ярость.
Пал виноградник и смертного мига не понял,
черное облако, смерти слепая всеядность.
Только минута прошла: непогода с погодой
на смерть схватились непоправимо и быстро.
Солнце опомнилось. Полдень очнулся спокойный.
Нет ни того, кто убит, ни того, кто убийца.
Мертвой лежит драгоценная малость и радость,
веточка, чудо, казенное детство побега,
и улетучилась, и не сбылась виноградность...
Вёдро. Глаза прозревают от влаги от века.

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс:
бессонница крови, ямб — пауза и ударенье.
Во мне—твоя кровь. Золотой виноградиной уст,
тебя восхваляя, свершается стихотворенье.

III

Было — но есть, ибо память не знает разлуки
с временем прошлым, и знать не научится вскорю.
Ношею горя обремененные руки.
Памятник битве неравной. Безмолвие скорби.
Брат виноградарь, когда бы глупей иль умнее
был, я б забыл о былом, но не рано ль, не рано ль?
В наших зрачках те события окаменели,
сердце прострелено градом, о брат виноградарь.
Если нахмурюсь и молвлю: — Я помню. Ты помнишь?
Мне собеседник ответит: — Ты помнишь? Я помню.
Жизнь—это средство смертельно рвануться на помощь
жизни чужой: человеку, и саду, и полдню.
Что из того, что навряд ли и трех очевидцев
бой пощадил, чтобы длилась суровая тризна.
Может быть, трое осталось из тех арагвинцев,
много и мало их было, а было их триста.
Женщины реяли, черные крылья надевши,
в высях печали, которую ум не постигнет.
Встань, виноградник, предайся труду и надежде!
Ты — непреклонен, вовек ты не будешь пустынен.
Ты, как и я, завсегдагой горы зеленейшей.
Я, как и ты, уроженец и крестник Манави.
Сводит с ума—так родим, и громоздок, и нежен
поскрип колес до отверстого входа в марани!
— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс.
Благоговею пред страстью твоею к даренью.

Ты мою кровь понукаешь спешить, тороплюсь:
благодаренье окажется стихотвореньем.

IV

Хочет лоза говорить, повисая бессильно,
изнемогая, вздыхая все тише и реже.
Чтобы потом сожаление нас не бесило,
пусть говорит! Как добры ее чудные речи!
— Может быть, дух испущу—и тогда не отчаюсь.
Я одолею меня испытующий ужас.
Непрерываемость жизни, любви неслучайность,
длительность времени—мне отведенная участь.
Вечно стремлюсь, как Иори и как Алазани,
как продвиженье светил в глубине мирозданья,
тысячелетья меня провожают глазами,
вечно стремлюсь исцелить и утешить страданья.
Помню грузин, что о Грузии так трепетали:
о, лишь возьми мою жизнь, и дыханье, и трепет.
Жизнь не умеет забыться для сна и печали,
и виноградник живет, когда бедствие терпит.
Дудочки осени празднество нам возвестили.
Слушайте, воины и земледельцы, мужчины!
Той же рукою, которой меня вы взрастили,
ввысь поднимите с великою влагой кувшины.
Жажда—была и, как горе, сплыла, миновала,
быть ей не быть — не колеблясь и не канителя.
Тот, кто на солнце смотрел сквозь стакан ркацители,
может сказать: меня солнце в уста целовало!
— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс,
тот пульс, что во мне, это только твое повторенье.
Пока он так громок, насыщен тобой и не пуст,
прошу, о, прими подношение стихотворенья!



С гор и холмов, ни в чем не виноватых,
к лугам спешил я, как учил ручей.
Мой голос среди троп замысловатых
служил замысловатости речей.

Там, над ручьем, сплеталась с веткой ветка,
как если бы затеяли кусты
от любопытства солнечного света
таить секрет глубокой темноты.

Я покидал ручей: он ведал средство
мой два слова в лепет свой вплетать,
чтоб выдать тайну замкнутого сердца,
забыть о ней и выпытать опять.

Весть обо мне он вынес на свободу,
и мельницы, что кривы и малы,
с той алчностью присваивали воду,
с какою слух вкушает вздор молвы.

Ручей не скрытен был, он падал с кручи,
о жернов бился чистотою лба,
и, наостривши узенькие уши,
тем желобам внимали желоба.

Общительность его души исторгла
речь обо мне. Напрасно был я строг:
смеялся я, скрывая плач восторга,
он — плакал, оглашая мой восторг.

Пока миниатюрность и нелепость
являл в ночи доверчивый ручей,
великих гор неколебимый эпос
дышал вокруг — божественный, ничей.

В них тишина грядущих гроз гудела.
В них драгоценно длился каждый час.
До нас, ничтожных, не было им дела,
сил не было любить ничтожных нас.

Пусть будет так! Не смея, не надеясь
занять собою их всевышний взор,
ручей благословляет их надменность
и льется с гор, не утруждая гор.

Простим ему, что безобидна малость
воды его — над малою водой
плывет любви безмерная туманность,
поет азарт отваги молодой.

Хвала ручью, летящему в пространство!
Вы замечали, как заметил я, —
краса ручья особенно прекрасна,
когда цветет растение иа¹.



На берегу то ль ночи, то ли дня,
над бездною юдоли, полной муки,
за то, что не отринули меня,
благодарю вас, доли и дудуки².

¹ И а — фиалка.

² Д о л и, д у д у к и — музыкальные инструменты.

Мои дудуки, саламури, стон
исторгшие, и ты, веселый доли,
взывают к вам вино, и хлеб, и соль:
останьтесь в этом одиноком доме.

Зачем привычка к старости стара,
и что за ветер в эту ночь запущен?
Мне во главе пустынного стола
осталось быть и страждущим, и пьющим.

Играет ветер в тени, в голоса,
из винной чаши, утомившей руки,
в мои глаза глядят мои глаза,
влюбленные в вас, доли и дудуки.

Тбилиси держит на ветру свечу,
пусть ваша жизнь ее огнем продлится!
Я пью вино. Я плачу. Я хочу,
друзья мои, увидеть ваши лица.

Без вас в ночи все сиро и мертво.
Покуда доли воплощает в звуки
все перебой сердца моего,
мой стон звучит в стенании дудуки.



Эти склоны одела трава.
Сколько красок сюда залетело!
А меня одолели слова.
Слово слабой душой завладело.

Как все желто, бело и красно!
Знать, и мак свою силу здесь тратил.
Как понять пестроту? Все равно!
Погляди и забудь, о читатель.

Нет, и бог не расстелет ковра
одноцветного, не расписного.
Я лелеял и помнил слова,
но не понял — где главное слово.

Всем словам, что объемлет язык,
я был добрый и верный приятель.
Но какое ж мне выбрать из них,
чтоб тебе угодить, о читатель?



Летит с небес плетеная корзина.
Ах, как нетрезвость осени красива!
Задор любви сквозит в ее чертах.
В честь истины, которую мы ждали,
доверимся младенчеству маджари!
А ну-ка чашу! Чашу и черпак!

Опустимся пред кевври на колени,
затем поднимем брови в изумленьи:
что за вино послал нам нынче бог!
Пылают наши щеки нетерпеньем,
и, если щеки не утешить пенъем,
что делать нам с пыланьем наших щек?

Лоза хмельная ластится к ограде.
Не будем горевать о винограде —
душа вина бессмертна и чиста.
Пусть виночерпий, как и подобает,
улады виноградарям добавит —
им подобает усладить уста.



Когда расцеловал я влагу
двух глаз твоих и совершенство
их нежной мрачности постиг,
сказал я: я имел отвагу
жить на земле и знать блаженство —
я жил, я знал, и бог простит.

Сегодня я заметил странность,
увы, заметил я, что море
твой образ знает и творит:
в нем бодрствует твоя усталость,
и губы узнают в нем горе
тех слез твоих, о, слез твоих.

РУССКОМУ ПОЭТУ — МОЕМУ ДРУГУ

Я повторю: «Бежит, грохочет Терек».
Кровопролитья древнего тщета
и ныне осеняет этот берег:
вот след клинка, вот ржавчина щита.

Покуда люди в жизнь и смерть играли,
соблазном жить их Терек одарял.
Здесь нет Орбелиани и Ярали,
но, как и встарь, сквозит меж скал Дарьял.

Пленяет зренье глубина Дарьяла,
познать ее не все обречены.
Лишь доблестное сердце выбирало
красу и сумрак этой глубины.

— Эгей! — я крикнул. Эхо не померкло
до этих пор. И, если в мире есть
для гостя и хозяина проверка,
мой гость, проверим наши души здесь.

Да, здесь, где не забыт и не затерян
след путника, который в час беды
в Россию шел, преодолевая Терек,
помедлил и испил его воды.

Плач саламури еще слышен в гуле
реки священной. Мой черед настал
испить воды, и быть тергдалеули¹,
и распахнуть пред гостем тайну скал.

Здесь только над вершиной перевала
летят орлы на самый синий свет.
Здесь золотых орлов как не бывало.
Здесь демона и не было и нет.

Войди сюда не гостем — побратимом!
Водой свободной награди уста...
Но ты и сам прыжком необратимым
уже взошел на крутизну моста.

¹ Тергдалеули — человек, испивший воды Терека.

В минуту этой радости высокой
осанка гор сурова и важна,
и где-то на вершине одинокой
все бодрствует живая тень Важа.

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

В горле моем заглушенного горя мгновенье —
вот преткновенье для вдоха, и где дуновенье
воздуха? — вымер он весь иль повеять ленится?
Тяжко, неможется, душно дубам Леонидзе.
Гогла, твой дом опален твоим жаром последним.
Грозный ожог угрожает деревьям соседним.
Гогла, платан, что привык быть тобою воспетым,
проклятый пеклом, горит и становится пеплом.
Если и сосен к себе не зовешь пред разлукой, —
как же ты занят твоей огнедышащей мукой!
Доблестный Мцыри, скиталец нездешней пустыни,
где же та пустынь, в которой отшельник ты ныне?
Слово одно исцелит твое бедное горло,
ты ли не знаешь об этом, о Гогла, о Гогла!
Смертная мука пребудет блаженством всего лишь,
если гортань ты о ней говорить приневолишь.
Лютую смерть, бездыханную участь предмета
вытерпеть легче, чем слышать безмолвье поэта.
Грузин речь, ликованье, страданье, награда,
не покидай Леонидзе так рано, не надо,
лишь без тебя он не вынес бы жизни на свете,
лишь без тебя для него бесполезно бессмертье.

КОРНИ

Вознесен над Евфратом и Тигром,
сверху вниз я смотрел на века,
обведенные смутным пунктиром,
цвета глины и цвета песка.

И клонилась, клонилась среди ночи
к междуречью моя голова.
Я без страха глядел в его очи,
словно в очи заснувшего льва.

Там, вверху, я оплакал утрату
тех времен, что теперь далеки,
когда белая темень Урарту
вдруг мои осенила зрачки

И когда в повороте капризном
промелькнул, словно тень меж ресниц,
дорогой и таинственный призрак
шумерийских и хеттских границ.

Приласкать мои руки хотели,—
но лишь воздух остался в руках, —
голубей, обитавших в Халдее,
в разоренных ее облаках.

Что-то было тревожное в этом
вихревом и высоком дыму,

белым цветом и розовым цветом
восходившем к лицу моему.

О, куда бы себя ни умчала,
свой исток да припомнит река!
Кровь моя обрела здесь начало
и меня дожидалась века.

В скольких женщинах, скольких мужчинах
билась пульсов моих частота.
Так вино дозревает в кувшинах
и потом услаждает уста.

И пока тяжелы мои корни
посреди занесенных полей,
я — всего лишь подобие кроны
над могилою этих корней.

ХВАМЛИ

Я, как к женщинам, шел к городам.
Города, был обласкан я вами.
Но когда я любил Амстердам,
в Амстердаме я плакал о Хвамли.

Скромным жестом богини ко мне
протянула ты руки, Эллада.
Я в садах твоих спал, и во сне
видел Хвамли я в день снегопада.

О Эмпайр, по воле твоей
я парил высоко над Гудзоном.
Сумма всех площадей и полей
представлялась мне малым газоном.

Но твердил я:—О Хвамли, лишь ты,
лишь снегов твоих вечный порядок,
древний воздух твоей высоты
так тяжел моим легким и сладок.

Гент, ответь мне, Радам, подтверди —
вас ли я не любил? И не к вам ли
я спешил, чтоб у вас на груди
опечаленно вспомнить о Хвамли?

Благодарствуй, земля! Женских глаз
над тобой так огромно свеченье.
Но лишь раз я любил. И лишь раз
все на свете имело значенье.

Воплотивший единственность ту,
Хвамли, выйди ко мне из тумана,
и вольюсь я в твою высоту —
обреченный, как сын Амираана.

ОПУСТЕВШАЯ ДАЧА

Увы, ущелие пустое!
Давно ли в сетке гамака
желтело платье простое,
как птица в глубине силка?

Давно ли женщина глядела
глазами чуть наискосок?
Кто улетел? Что улетело
и след впечатало в песок?

Давно ль смородиной зеленой
играли пальчики любви
и на веранде застекленной
шел спор меж милыми людьми?

Но кто ж возник здесь? Что возникло?
Кто плакал и не вытер слез?
Какой бесчинствовал возница?
Куда увез? Зачем увез?

Под сенью бедного ореха
чего я жду? Кого я жду?
Какого голоса и смеха?
Какого шепота в саду?

Так утром, при погоде славной,
я шел меж опустевших дач,
овеянный печалью сладкой
и предвкушеньем неудач.



Я книгочей, я в темень книг глядел,
я звездочет, я созерцал пространство,
невежда, я не ведал — где предел
любви, что беспредельна и прекрасна.

Есть край бескрайним лепетам молитв,
и мера есть безмерным лептам плача.
Как я молился! Сколько слез пролил!
Избыток муки — вот моя удача.

Я ранен был, и мертв, и снова жил,
и, в бесконечной грусти мироздания,
грущу о том, что мало послужил
оплошности чрезмерного страдания.



Жаждешь узреть — это необходимо —
(необходимо? зачем? почему?) —
жаждешь узреть и собрать воедино
все, что известно уму твоему.

Жаждешь, торопишься, путаешь, боже,
вот сколько нужно: глаза, голоса,
горе... а радости? Радости тоже!
Радости, шалости и чудеса!

Жаждешь и думаешь: помню ль? могу ли?
Вечер в Риони, клонящий к слезам
солнцем и свадьбою: «Лиле»... «Макрули»...
И Алазань? Как забыть Алазань?

Жаждешь в душе твоей, в бедном ковчеге,
соединить без утрат и помех
все, что творится при солнце и снеге:
речи, поступки, и солнце, и снег.

Жаждешь... Но если, всевышним веленьем,
вдруг обретешь это чудо и жуть,
как совладаешь с чрезмерным виденьем,
словом каким наречешь его суть?



Ты увидел? Заметил? Вгляделся?
В мире — прятанье, поиск, игра:
улепetyвать с резвостью детства,
притаиться, воскликнуть: «Пора!»

Обыскав ледники и теплицы,
перестав притворяться зимой,
март взывает: «Откликнись, Тбилиси!
Ты — мой баловень, неженка мой».

Кутерьма адресатов и почты:
блеск загара грустит по лицу,
рыщет дерево: где его почки?
Не они ль утаили листву?

Ищет сад — пребывания втайне,
ищет ливень — пролиться куда,
но скрывает Куры бормотанье,
что скрывает и ищет Кура?

Наконец все находят друг друга,
всех загадок разгадка ясна,
и внутри драгоценного круга
обретает Тбилиси весна.

ДАЛЕКАЯ ШХЕЛДА

Тот снег—в ожидании нового снега,
скажу лишь о нем, остальное я скрою.
И прошлой зимой длилось действие неба
над Шхелдою, над осиянной горою.

Свеченья и тьмы непрерывная смена —
вот опыт горы, умудряющий разум.
Тот снег в ожидании нового снега —
в неподвижности, но и в азарте прекрасном.

Неистовый дух, вечно алчущий света,
молящийся, страждущий и дерзновенный.
Тот снег в ожидании нового снега.
Далекая Шхелда и сумрак вселенной.

КАМЕНЬ

Я сравнивал. Я точен был в расчетах.
Я применял к предметам власть свою.
Но с тайною стихов неизреченных
что мне поделать? С чем я их сравню?

Не с кладом ли, который вдруг поранит
корыстный заступ, тронувший курган?
Иль равен им таинственный пергамент,
чей внятный смысл от всех сокрыл Кумран?

Иль есть в них сходство с недрами Армази,
присвоившими гибель древних чаш?
Их черепки сверкнут светлей алмаза,
но не теперь, — когда настанет час.

Иль с Ванскими пещерами? Забава
какой судьбы в тех знаках на стене?
Или с Колхидой, копья и забрала
хранящей в темноте и тишине?

Нет, с нежным чудом несвершенной речи
сравниться могут — не сравнявшись с ней —
лишь вещей Мцхеты сумрачные свечи,
в чьем пламени живет душа теней.

Не искушай, метафора, не мучай
ни уст немых, ни золотых чернил!
Всему, что есть, давно уж выпал случай —
со всем, что есть, его поэт сравнил.

Но скрытная, как клинопись на стенах,
душа моя, средь бдения и снов,
все алчет несравнимых, несравненных,
не сказанных и нескáзанных слов.

Рука моя спешит предаться жесту —
к чернильнице и вправо вдоль стола.
Но бесполезный плач по совершенству —
всего лишь немота, а не слова.

О, как желает сделаться строкою
невнятность сердца на исходе дня!

Так, будучи до времени скалою,
надгробный камень где-то ждет меня.

ВЕСНА

Деревья гор, я поздравляю вас:
младенчество листвы — вот ваша прибыль,
вас, девушки, затеявшие вальс,
вас, волны, что угодны юным рыбам,

вас, небеса, — вам весела гроза,
тебя, гроза, — тобой полны овраги,
и вас, леса, глядящие в глаза
расплывчатым зрачком зеленой влаги.

Я поздравляю с пчелами луга,
я поздравляю пчел с избытком меда
и эту землю с тем, что велика
любви и слез беспечная погода.

Как тяжек труд пристрастия к весне,
и белый свет так бел, что видеть больно.
Но заклинаю — не внемлите мне,
когда скажу: «Я изнемог. Довольно».

ПАМЯТЬ

В час, когда осень щедра на дожди
и лихорадка осину колотит,
глянешь — а детство блесит позади
кроткой луною, упавшей в колодец.

Кажется — вовсе цела и ясна
жизнь, что была же когда-то моею.
Хрупкий узор дорогого лица
время сносило, как будто монету.

Мой—только памяти пристальный свет,
дар обладания тем, чего нет.



Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
среди звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.

ИЗ СТИХОВ ТУРМАНА ТОРЕЛИ¹

1. НА БОЙНЕ

Грянула буря. На празднестве боли
хаосом крови пролился уют.
Я, ослепленный, метался по бойне,
где убивают, пока не убьют.

В белой рубашке опрятного детства
шел я, теснимый золой и огнем,
не понимавший значенья злодейства
и навсегда провинившийся в нем.

Я не узнал огнедышащей влаги.
Верил: гроза, закусив удила,
с алым закатом схватилась в овраге.
Я — ни при чем, и одежда бела.

Кто убиенного слышал ребенка
крик поднебесный, — тот проклят иль мертв.
Больно ль, когда опьяневшая бойня
пьет свой багровый и приторный мед?

¹ Турман Торели — персонаж исторической эпопеи Г. Абашидзе.

Я не поддался двуликому ветру.
Вот я — в рубахе, невинной, как снег.
Ну, а душа? Ее новому цвету
нет ни прощенья, ни имени нет.

Было, убило, прошло, миновало.
Сломаны — но расцвели дерева...
Что расплывается грязно и ало
в черной ночи моего существа?

2. ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТ

Глядит из бездны прежней жизни остов.
Потоки крови пестуют ладью.
Но ждет меня обетованный остров,
чьи суть и имя: я тебя люблю.

Лишь я — его властитель и географ,
знаток его лазури и тепла.
Там — я спасен. Там — я святой Георгий,
поправший змия. Я люблю тебя.

Среди растленья, гибели и блуда
смешна лишь мысль, что губы знали смех.
Но свет души, каким тебя люблю я,
в былую прелесть красит белый свет.

Ночь непроглядна, непомерна стужа.
Куда мне плыть — не ведомо рулю.
Но в темноте победно и насущно
встает сиянье: я тебя люблю.

Лишь этот луч хранит меня от бедствий,
и жизнь темна, да не вполне темна.
Меж обреченной плотью и меж бездной
есть дух живучий: я люблю тебя.

Так я плыву с ослепшими очами.
И я еще вдохну и пригублю
заветный остров, где уже в начале
грядущий день и я тебя люблю.



Вот я
 смотрю
 на косы твои грузные,
как падают,
 как вьются тяжело...
О, если б ты была царицей Грузии, —
о, как бы тебе это подошло!
О, как бы подошло тебе приказывать!
Недаром твои помыслы чисты.
Ты говоришь —
 и города прекрасного
в пустыне
 намечаются
 черты.
Вот ты выходишь в бархате лиловом,
печальная и бледная слегка,
и, умудренные твоим прощальным словом,
к победе
 устремляются войска.
Хатгайский шелк пошел бы твоей коже,
о, как бы этот шелк тебе пошел,
чтоб в белой башне из слоновой кости
ступени целовали твой подол.
Ты молишься —
 и скорбь молитвы этой

так недоступна нам и так светла,
и нежно посвящает Кашуэта
тебе одной свои колокола.
Орбелиани пред тобой,
 как в храме,
молчит по мановению бровей.
Потупился седой Амилахвари
пред царственной надменностью твоей.
Старинная ты,
 но не устарели
твои черты... Светло твое чело.
Тебе пошла бы нежность Руставели...
О, как тебе бы это подошло!
Как я прошу...
 Тебе не до прощений,
не до прощений
 и не до меня...
Ты отблеск славы вечной и прошедшей
и озаренье нынешнего дня!

МРАВАЛЖАМИЕР

Твоим вершинам,
белым и синим,
Дарьялу и Тереку,
рекам твоим,
твоим джигитам,
статным и сильным,
а также женщинам,
верным им, —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим потокам,
седым потокам,
твоим насупленным ледникам,
предкам твоим
и твоим потомкам,
их песням,
танцам
и смуглым рукам —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим героям,
делам их ратным,
их вечной памяти на земле,
твоим языкам и наречьям разным,
лету,
осени,

весне
и зиме —
мравалжамиер, многие лета!

Горам и ущельям,
низу и долу,
каждому деревцу во дворе,
Волге твоей,
и Днепру,
и Дону,
Сыр-Дарье,
и Аму-Дарье —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим строителям неутомимым,
реке,
и речке,
и каждой струе,
тебе, овейной светом и миром,
тебе,
моей дорогой стране, —
мравалжамиер, многие лета!



Где же еще Грузия другая?
Гр. Орбелнани

Все, что видела и читала,
все —
твое,
о тебе,

с тобой.
В моем сердце
растет чинара,
ночью ставшая голубой.
И в минуту самую грустную
предо мною одна,
дорогая,
ты, прекрасная Грузия.

«Где же еще Грузия другая?»

О луга моей Карталинии,
олени с большими рогами
и такие хрупкие лилии,
что страшно потрогать руками.
Ты об этом помнить велишь мне.
Я смотрю на тебя,
не мешая,
край,
овейный белым величьем...

«Где же еще Грузия другая?»

Травы синие
лягут на плечи.
С этих трав
я росинки сняла.
О мои виноградные плети!
О Тетнульда большие снега!
Зажигаются звезды со звоном,
искры белые
извергая.
Я слезу
за далеким их звоном:

«Где же еще Грузия другая?»

Пусть герои твои умирали —
слава их
разнеслась далеко.
Прямо к солнцу
взмывает Мерани,
и печально звучит
«Сулико».
Живы Алуда и Лела.
Устал Онисэ,
размышляя.
О родина песен и лета!

«Где же еще Грузия другая?»

С тихими долгими песнями
проходят
твои вечера.
Плачут
горийские персики,
когда наступает пора.
Они нависают с ветки.
Ветка густая,
большая.
Разве ты не одна на свете?

«Где же еще Грузия другая?»

●

Ты такое глубокое,
небо грузинское,
ты такое глубокое и голубое.
Никто из тех, кто тебе грозился,
приюта не обрел под тобою.
Ни турки, ни персы
и ни монголы
не отдохнули под тобой на траве,
не заслонили цветов магнолий,
нарисованных на твоей синеве.
Ошки,
и Зарзма,
и древний Тао
поют о величье твоём,
о небо!
Птицы в тебе летают
и теряются в тебе,
голубом...

●

Вот солнце
на носки привстало,
и город потянулся сонно.
Ему быть темным
не пристало.
Входило солнце
в город солнца.

И воздух был прозрачный,
ранний,
просвечивающий изнутри.
Стоял Тбилиси, как Ираклий,
у древней крепости Нарі.
Такая ли была погода,
когда в Тифлис вступали персы
и не сдавались им подолгу
его воинственные песни?

В ЗЕДАЗЕНИ

Лето заканчивается поспешно,
лето заканчивается на дворе.
Поспела ежевика,
ежевика поспела
и боярышник на горе.

Листвсю замечает овраги,
здесь эхо такое большое да ломкое.
А небо над ущельем Арагви
все такое же синее и далекое.

Хорошо иметь его,
хорошо иметь его
в сердце...
О, как стройна
дорога на Имеретию,

дорога на Имеретию
прямая, словно струна.

Как эти места чисты и добры,
как быстро здесь дни летят.
Над Зедазени шелестят дубы,
дубы шелестят...

В ШИОМГВИМЕ¹

Железный балкон,
уютный и ветхий.
О, люди редко бывают тут.
Зато миндаль
сюда наклоняется веткой,
и липы опадают,
когда отцветут.

Эти деревья намного старше,
намного старше,
чем я и ты.
Но неужели
этим деревьям не страшно
одинокчество келий и темноты?

¹ Ш и о м г в и м е — селение, где сохранились развалины древнего монастыря.

ВХОДИЛА В ГУРИЮ КАЛАНДА¹

Я помню изгородь под инеем.
Снег падал тихо и светло.
Кричит петух — и вспоминаю я
мое гурнйское село.
Проламывалась наледь тонкая
под грузом шага моего,
и лаяла устало Толия,
сама не зная, на кого.
Похожий на большую букву,
одни на вековом посту
дуб укрывался, словно в бурку,
в свою дырявую листву.
Глубокий снег следы марали,
тропинка далеко вела,
и возле вещеого марани
был ветер пьяным от вина.
Все это — где-то и когда-то,
но позабыть о том нельзя...
Входила в Гурию каланда
и чичилаки² нам несла.

¹ К а л а н д а — праздник Нового года в Гурии.

² Ч и ч и л а к и — остроганный ствол дерева, употребляемый вместо новогодней елки.

ПО ДОРОГЕ В БЕТАНИЮ

Шиповник,
смородина,
и черника,
и боярышник иногда.
Дождь прошел...
И привольно и дико
по горам сбегает вода.

Мы идем...
И холодные, ясные
дуют ветры.
Деревья дрожат.
На тропинке —
каштановые,
ясеневые
и дубовые
листья лежат.

Мы подходим к ущелью Самадло.
Снова дождь нас вводит в обман.
Я хочу быть с тобою.
Сама я —
словно горы и словно туман.
Шиповник,
смородина,
и черника,
и боярышник иногда.
Дождь прошел...
И привольно и дико
по горам сбегает вода.

●

Снег аджаро-гурийских гор,
моих гор родных.
О, какой там большой простор,
какой чистый родник!
Маленькая мельница на Губазоули
у ворот моего двора.
Там лавровишни давно уснули,
и роса их сладка и добра.
О родина,
уже, наверное, год
я не виделась с ней!
Снег аджаро-гурийских гор,
туман и снег...

●

Охотник сумрачно и дерзко
раскладывает западни.
Здесь ходит горная индейка —
ее подстерегут они.
О, по опасной той аллее
мы пробегаем много дней.
Как годовалые олени,
пугаемся своих теней.
О, будь, индейка, осторожна,
не проходи по той тропе.
Ты слышишь?

Горестно,
тревожно
твой милый
плачет о тебе.

ЗВЕЗДЫ

Апрельская тихая ночь теперь.
Те птицы и эти
свои голоса сверяют.
О звезды, —
невозможно терпеть,
как они сверкают,
как они сверкают!
Земле и небу
они воздают благодать
и, нарушая
темноту этой ночи,
сверкают,
сверкают —
издалека видать! —
мои звезды
и твои очи.
Теперь апрельская тихая ночь,
и глаза
к ней медленно привыкают.
О звезды —
мне это все невмочь, —
как они сверкают!
Как они сверкают!

●

Громче шелести,
осина,
громче, мать-земля, гуди.
Живы мы!
И зло и сильно
сердце прыгает в груди.
Лес!
У нас есть листья,
губы —
целоваться,
говорить.
О, гуди — пусть эти гуды
будут в воздухе бродить!

РАЗГОВОР С ЧИАМАРИЕЙ¹ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О медлительная побелка
этих яблоневых лепестков!
Так здравствуй, победа,
победа,
победа во веки веков!
Выходи,
чиамария,
празднуй,
тонко крылышками трубя.

¹ Ч и а м а р и я (груз.) — божья коровка.

Мои руки совсем не опасны —
мои руки
ласкают тебя.
Возмужавшей земле обожженной
не управиться
с новой травой.
Где наш враг?
Он лежит,
пораженный
справедливой и меткой стрелой.
Чиамария,
как мы тужили,
как мы плакали,
горе терпя,
но смеется
герой Цицишвили,
защитивший меня и тебя.
Чиамария,
мир, а не горе!
И, вступая в привычки труда,
тут степенно пройдетя Никора,
и воскреснет за ним борозда.
Как Никора доволен работой!
Как глаза его добро глядят!
Я стою среди луга рябого.
«Гу-гу-гу...»
Это вязы гудят...

Я СЛЕЧУ, СИРЕНЬ...

Небо синее,
нет у неба предела
здесь, близко,
и там, далеко.
Появилось облачко
и поредело.
Небу
тайну хранить нелегко.

Я прикрою веки,
прикрою веки,
чтобы мир едва голубел и серел.
Слечу я
на твои синие ветки,
на твои синие ветки
слечу, сирень!

Я буду петь твоим мелким цветочкам,
о, буду петь,
буду только петь —
твоим прожилкам,
крапинкам, точкам,
потому что не смогу утерпеть.

Я буду петь голосисто и тонко.
Как мне хочется петь, сирень!
Никому так не хочется!
Может быть, только
небу хочется так же синеть.

О облака!
Я догнать их надеюсь.

Я за ними следую
всегда и сейчас.
Но куда я денусь?
О, никуда не денусь,
сирень,
от твоих сиреневых глаз.

О, зачем мне скрывать эту тайну?
Навеки,
навсегда
одного хочу.
Я слечу на твои синие ветки,
на твои синие ветки слечу.



Когда прохожу
по долине росистой,
меня, как ребенка,
смешит роса.
Цветы
приоткрывают
ресницы,
к моим глазам
обращают глаза.
Я вижу
движение каждого пестика,
различаю границу
утра и дня.
Ветер,
подай мне цветок персика,

травой и листьями
осыпь меня!
Я,
эти цветы нашедшая,
хочу,
чтоб они из земли вылезали.
И как сумасшедшая —
о, сумасшедшая —
хохочет трава
с растрепанными волосами.
Деревья сняли
свои драгоценности
и левой пригоршней
меня забросали.
Вот драгоценности —
все они в целости.
Деревья,
вы понимаете сами.
Я тоже,
я тоже сошла с ума.
Всего мне мало,
и все мне малó!
Хохочет,
хохочет —
не я сама! —
хохочет,
хохочет сердце мое!
И ты
на исходе этого дня
листьями и травую прогоркшей
осыпь меня,
да, осыпь меня,
но только правой пригоршней!

●

О бабочек взлеты и слеты!
Может быть, я ошибаюсь.
То слезы,
но добрые слезы.
Я плачу
и улыбаюсь.

Я выросла в поле,
где средь травинок
капли росы навешены.
Я веточка,
полная зеленых кровинок,
срезанная невеждами.

Я стану свирелью,
свирелью зеленой!
Нагряну к вам трелью,
трелью залетной!

Я —
этого воздуха обитательница,
не страшась ничего.
Я —
плачущая обладательница
сердца твоего.
С горных пастбищ,
для любви навеяна,
медленно
я поднимаюсь кверху.

О земля,
если б ты мне не верила, —
я бы обратилась
к ветру:
О ветер,
докажем,
докажем скорей,
докажем каждому,
что я —
свирель.

Дохни —
и медленно и жалобно
польется песня
из зеленого желоба.
И прислушаются люди чутко,
и уловят
мое дыхание,
и поймут они
силу чувства,
обращенного в это звучание.

Я СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА...

Вот я стою—ни женщина, ни девочка,
и ветер меня гладит по плечам.
Я — маленькая, маленькая веточка.
Садовник, утоли мою печаль.

Садовник, заслони меня от ветра:
мои он разорвет лепестки.
Что сделаю я—маленькая ветка?
Ведь у меня ни слова, ни руки.

О, подойди, скажи: не солгала ты,
ты — маленькая веточка, прости.
А ветер — он буян и соглядатай,
и ты меня от ветра защити.



Как пелось мне и бежалось мне,
как хотелось
петь и бежать!
Недоверчивой и безжалостной
мне никогда не бывать.
Когда месяц встает
за крепостной стеной
Орбелиани,
там,
вдалеке,
я, как дудка, следую за тобой
и отражаюсь в реке.
Идешь ли ты за арбою,
или у родника
стоишь, —
я иду за тобою,
и походка моя легка.

Недоверчивой и безжалостной никогда
мне не бывать
с тобой.
Поверь,
когда засияет звезда
предрассветная
во мгле голубой, —
это ты мне свой посылаешь привет,
просишь помнить,
не забывать.
Недоверчивой и безжалостной —
нет! —
мне никогда не бывать!

О МАГНОЛИЯ, КАК Я ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ!

За листом твоим,
листом дорогим,
не угнаться —
он летит по воде и по суше.
Так и сердце его:
другим, другим,
другим его сердце послушно.

О моя магнолия,
лист твой поднят
ветром —
не видеть тебе твоего листа.

Наверно, не помнит он меня,
наверно, не помнит,
конечно, не помнит он моего лица.

Девятиглазого солнца
и бушующих морей
мы несем любовь,
только ты и я.
Но почему он не помнит
об этой любви моей,
почему, магнолия,
он не помнит меня?

У тебя, быть может,
был такой же час,
и он снова вернется,
и все это развеется?..
Нет, чтобы южные ветры
навсегда покинули нас,
мне что-то не верится,
что-то не верится.

Как он горд, магнолия,
как он горд.
Но с нами любовь
и цвет голубой
прекрасных морей,
прекрасных гор.
О магнолия, как я хочу быть с тобой!

МОЛИТВА ЗМЕИ

Как холодна змея,
красива,
когда черты ее видны.
Все крапинки ее курсива
так четко распределены.
Внимая древнему мотиву,
она касается земли
и погружается в молитву,
молитву страшную змеи.
Знать, душу грешную свою
с надеждой богу поверяет,
в молитве с нею порывает
и просит:
«Бог, прости змею!»
О, нету,
нету больше мочи! —
и к скалам приникает грудь,
и вдруг таинственная грусть
змеиные заслонит очи.
И будет шепот этот литься
с ее двойного языка,
пока вокруг сухие листья
толкают руки ветерка.
Сейчас пусти ее в пески,
не попрекни смертельным делом —
с глазами,
полными тоски,
и к солнцу обращенным телом.
Пусть отстоит
свою молитву
и чудно полосы свернет,

и сквозь просвирник и малину
всей кожей крапчатой сверкнет.
Пусть после этих странных таинств
она взовьется вдалеке,
чтоб отплясать свой страшный танец
как будто с бубнами в руке.
Так пусть отпляшет разудало,
своими кольцами звеня.
Быть может,
старый «узундара»
сегодня выберет змея...

ТАТАРКЕ ДЕВУШКЕ

Татарка девушка,
сыграй на желтом бубне,
здесь, возле рынка, где кричит баран.
Татарка девушка,
нарушим эти будни,
отпразднуем торжественно байрам.
О, сколько клиньев,
красных и сиреневых,
в себя включает
странный твой наряд.
Сплетенья маленьких монет серебряных
на шее твоей тоненькой горят!
Возьми свой бубен.
Пусть в него вселится
вся молодость твоя и удалство.
Пусть и моя душа повеселится
на празднике веселья твоего.

БУБНЫ

Когда я говорить устану,
когда наскучат мне слова,
когда я изменю уставу
веселости и торжества, —
выходят из подвалов бубны
тогда,
о, именно тогда,
все их движения так буйны
и песня их так молода.
Осенним солнцем залитые,
они на площади сидят,
и бьют в ладошки золотые
и весело вокруг глядят.



Что за ночь—по реке и по рощам!
Что за ночь окружает меня!
Ты кричишь: «Эй, паромщик, паромщик!»
Но вокруг ни души, ни огня.

Как далеки и Дзегви, и Мцхета,
и таинственный месяц в реке.
Он молчит, но так слышимо это.
Что он думает там, вдалеке?

●

Я тебя увенчаю короной,
я тебе жемчугов надарю.
Захочу я — и славой короткой,
громкой славой тебя наделю.

А когда ты затихнешь в восторге,
я сама засмеюсь, удивлюсь.
Для тебя я взошла на востоке,
для тебя я на запад склонюсь.

СКАЖИ МНЕ, ЧИАМАРИЯ...

Чиамария, чиамария,
отшумел этот дождик сполна.
Ты такая смешная и маленькая.
Чиамария, где ты спала?

Твои крылышки, верно, простыли,
когда капля тебя волокла.
Я кажусь тебе тенью в пустыне, —
так я рядом с тобой велика.

Чиамария, в чем твоя радость?
Эти крапинки кто намечал?
Чиамария, в чем наша разность?
Ведь и мне этот дождь не мешал.

●

Свирель поет печально,
стройно,
и птица напрягает мускулы.
О, как задумчиво и строго
акация
внимает музыке.
Взлетает птица
выше,
выше,
туда,
где солнце и цветенье,
а маленькая ветка вишни
хранит ее прикосновение.

●

Он безмолвствует,
спит на крышах,
но вот он гудеть начинает,
и тогда
на зеленых крыльях
поднимаются
к солнцу
чинары.
Страх перед ними осия,
плача от тяжелой печали,
взмывают мои осины,
шевели
большими плечами.

Какие розовые щеки,
и в каждой светит по костру,
и глаз голубенькие щелки
еще не клонятся ко сну.
О девочка,
что «Деда-эна»¹
тебе расскажет о земле?
Как виноград лисица ела?
Как заяц белым стал к зиме?
С какою трогательной грустью
ты плачешь! Вздрагивают плечики.
Зачем лисице с белой грудью
попались маленькие птенчики?!
О, радость первого незнания!
Ты выговорила едва
цветов красивые названия:
«а-и нар-ги-зи, а-и и-а»².
Все в маленьком твоём рассудке
запечатлелось, но опять
ласкаешь пестрые рисунки.
Устала книжка,
хочет спать.
День к вечеру переломился.
Вот месяц вышел и горит,
а язычок не утомился.
Смеется он

¹ «Деда-эна» (груз.) — «Родная речь».

² «Аи наргизи, аи иа» (груз.) — «Вот нарцисс, вот фиалка».

и говорит.
Жизнь будет сложная и долгая.
О девочка,
запомни так:
страна твоя большая,
добрая,
она вся в реках и цветах.
А ты играешь с мамой в ладушки—
тебе ли думать о судьбе!
Ромашки,
маки
или ландыши —
что больше нравится тебе?

ЛАДО АСАТИАНИ

Вспомнят меня, как Никалу, и наступят на теплую могилу мою.

Л. Асатиани

Где-то поблизости
солнце и ветры
дадут акации
зацвести поскорей,
и осыплются эти белые ветки,
осыплются
над могилой твоей.
Я-то знаю,
что под этой елью

ты уснул,
положив свою голову в маки.
Взбудораженный любовью,
наполненный ею,
ты лежишь,
как лежат все поэты и маги.
А земля наполняется парусами
и цветами,
которые тебя так манили...
А Пиросмани?
О, Пиросмани
придет к твоей теплой могиле...
Ты умер, окончился,
но снова прокрался
в эту жизнь.
Велики твои радость и грусть.
О весна! Взгляни, сколь она прекрасна!
А цветы все падают и падают тебе на грудь.



Долгой жизни тебе,
о фиалка!
Твоим синим и милым глазам.
Чтобы ветром тебя не сразило!
Чтобы градом тебя не задело!
Чтоб тебя не ушибли ногой!

ОБЛАКА

Грозы и солнца перемирие,
и облака несут утрату
дождя —
над всем:
над пирамидами,
над Хеттой,
Мидией,
Урарту.
И радуга —
грозы напарница —
встает,
и пенится Кура.
Куда теперь они направятся?
Куда? Не ведаю.
Куда?



О, пусть ласточки обрадуют нас вестью
о появлении первых роз.
Пусть мотылек
поцелуется с яблонево́й ветвью
и та приоткроет
свой маленький рот.
О, снова март,
и снова это деленье

на голубое с зеленым
с примесью красок других.
Цветы начинаются на земле,
поднимаются на деревья,
и март
раскрывает
их.



Тень яблони
живет на красивом лугу.
Она дышит,
пугливо меняет рисунок.
Там же живет самшит,
влюбленный в луну,
одетый кольчугой росинок.
Цикады собираются оркестрами.
Их музыка
достойна удивленья,
и шепчутся с деревьями окрестными
около растущие деревья.
А к утру затихнет их шепот,
погаснет
и ветром задунется.
О, есть что-то,
безмерно заставляющее задуматься...

●

Перекликаются куропатки...
И, рассеивая аромат,
в том парке
и в этом парке
цветы танцуют и говорят.
Опьяняются ими долины
в пятнах света и темноты,
и опять,
опять неделимы
бабочки
и цветы.
Ветры землю проветривают,
начинаясь там,
у реки.
Пчелы волшебниц проведывают.
Сплетничают мотыльки.
Который год,
о, который год
повторяются эти порядки.
Сумерки спускаются с гор...
Исступленно перекликаются куропатки.

ТУТА

Чего,
чего же хочет тута?
Среди ветвей ее темно.
Она поскрипывает туго,
как будто просится в окно.

Она вдоль дома так и ходит,
след оставляет на траве.
Она меня погладить хочет
рукой своей по голове.
О тута,
нужно в дом проникнуть
и в темноте его пропасть,
и всей корою ко мне приникнуть,
и всей листвою ко мне припасть.



Когда наступит ночь
и вычернит
все камни и цветы вокруг,
когда на небе месяц вычертит
свой точный
неразрывный круг
и склонятся ко сну
все травы,
все люди,
все живые твари, —
луч месяца соединится
со снегом чистым, молодым,
то белым светом озарится,
то розовым,
то голубым.
Их поцелуй так тих,
отраден

и запахом цветов отравлен.
Лишь палочкою-выручалкой
там птица вдалеке стучит.
Кавкасион величавый
все видит,
дышит
и молчит.



Что делает весна
с владениями роз?
Ей хочется
заботой их порадовать.
Шиповник
медленный свой замечает рост,
и начинают веточки подрагивать.
Как голоса
влюбленные пернатые
над каждую лужайкой и тропой!
А вот цветы, поникшие,
прямые,
перемешанные с травой.
Их, верно, парни девушкам дарили.
У тех же, видно,
помыслы свои:
они сбегают весело
в долины,
где новые цветы и соловьи.

●

О ты, чинара,
взмывшая высоко, —
страшны ли тебе ветер и гроза?
На фоне просветлевшего востока
ты открываешь медленно глаза.
Всей кожей на рассвете холодея,
ты распуши листву
и так замри,
безмолвная,
как Тао и Халдея,
соединеньем неба и земли.
Назначена
для страсти и восторга
бровей твоих
надменная краса...
О ты, чинара,
взмывшая высоко, —
страшны ли тебе встер и гроза?!



Опять нет снега у земли.
Снег недоступен и диковин.
Приемлю солнцепек зимы,
облокотясь о подоконник.

Дымы из труб — как слова,
чей важный смысл — абракадабра,
и голубые небеса
дивятся странности подарка.

Я даровал бы крышам снег,
будь я художник иль природа, —
иначе совершенства нет
в пейзаже с тенью дымохода.

Я И ТЫ

О, уезжай! Играй, играй
в отъезд. Он нас не разлучает.
Ты — это я. И где же грань,
что нас с тобою различает?
Я сам разлуку затевал,
но в ней я ничего не понял.
Я никогда не забывал
тебя. И о тебе не помнил.
Мне кажется игрой смешной
мое с тобою расставанье.
Ты — это я. Меж мной и мной
не существует расстоянья.
О глупенькая! Рви цветы,
спи сладко иль вставай с постели.
Ты думаешь, что это ты
идешь проспектом Руставели?
А это — я. Мои глаза
ты опускаешь, поднимаешь,
моих знакомых голоса
ты слушаешь и понимаешь...
И лишь одно страшит меня
и угрожает непрерывно:
ты — это я. Ты — это я!
А если бы меня не стало?

ГАГРА

Меж деревьев и дач — тишина.
Подметание улиц. Поливка.
Море... поступь его тяжела.
Кипарис... его ветка поникла.

И вот тонкий, как будто игла,
Звук возник и предался огласке, —
Начинается в море игра
В смену темной и светлой окраски.

Домик около моря. О ты, —
Только ты, только я в этом доме.
И неведомой формы цветы
Ты приносишь и держишь в ладони.

И один только вид из окна —
Море, море вокруг — без предела!
Спали мы. И его глубина
Подступала и в окна глядела.

Мы бежали к нему по утрам,
И оно нас в себя принимало,
И текло по плечам, по рукам,
И легко холодком пронимало.

Нас вода окружала, вода, —
Литься ей и вовек не пролиться.
И тогда знали мы, и тогда,
Что недолго все это продлится.

Все смешается: море и ты,
Вся печаль твоя, тайна и прелесть,
И неведомой формы цветы,
И травы увядающей прелесть.

В каждом слове твоём — соловьи
Пели, крылышками трепетали.
Были губы твои солони,
Твои волосы низко спадали...

Снова море. И снова бела
Кромка пены. И это извечно.
Ты была? В самом деле была?
Или нет? Это мне неизвестно.

П А Н

Старый дуб, словно прутик, сгибаю,
Достаю в синем небе орла.
Я один колоброжу, гуляю,
Гогочу, как лихая орда.

Я хозяин заброшенных хижин,
Что мелькают в лесу кое-где.
Осторожный и стройный, как хищник,
Жадно я припадаю к еде.

Мне повадно и в стужу и в ветер
Здесь бродить и ступать тяжело.
Этот лес — словно шкура медведя,
Так в нем густо, темно и тепло.

Я охотник. С тяжелою ношей
Прихожу и сажусь у огня.
Я смеюсь этой темною ночью,
Я один — и довольно с меня!

Сказки сказываю до рассвета
И пою. А кому — никому!
Я себе открываю все это,
Я-то все рассужу и пойму.

Я по бору хожу. Слава бору!
Город — там, где отроги темны,
Мне не видно его. Слава богу!
Даже ветер с другой стороны!

Только облако в небе. Да эхо.
Да рассвет предстоящего дня.
Лишь одно только облако это, —
Нет знакомых других у меня!

С длинным посохом, долгие годы,
Одинокий и вечный старик,
Я брожу. И как крепость свободы,
В чаще леса мой домик стоит!

ИЗ НЕПОСЛАННОГО ПИСЬМА

Как сверкают и брызгают капли!
По Москве мое тело бредет.
А душа моя — в Картли. О, в Картли,
Одинокая, клич издает.

Там, где персики,
 персики,
 персики,
Где сияет и пахнет земля,
Там, где держатся пчелы за пестики
Белоснежных цветов миндаля...

Я такой же, как в прежние годы,
Седина моя в счет не идет.
Но душа моя, вырвавшись в горы,
В Карталинии
 клич
 издает!

В ПОЕЗДЕ

Между нами—лишь день расстоянья.
Не прошло еще целого дня.
От тебя — до меня, до сиянья
Глаз твоих, провожавших меня.

А за окнами горы и горы.
Деловое движенье колес.
День. О господи! Годы и годы
Я твоих не касался волос!

Я соседа плечом задеваю.
«Эхе-хе!» — я себе говорю.
Разговор о тебе затеваю.
У окошка стою. И курю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Я говорю вам: научитесь ждать!
Еще не все! Всему дано продлиться!
Безмерных продолжений благодать
не зря вам обещает бред провидца:
возобновит движение рука,
затеявшая добрый жест привета,
и мысль, невнятно тлевшая века,
все ж вычислит простую суть предмета,
смех округлит улыбку слабых уст,
отчаянье взлелеет тень надежды,
и бесполезной выгоды искусств
возжаждет одичалый ум невежды...
Лишь истина окажется права,
в сердцах людей взойдет ее свеченье,
и обретут воскресшие слова
поступков драгоценное значенье.

31 ДЕКАБРЯ

Этот день — как зима, если осень причислить к зиме,
и продолжить весной, и прибавить холодное лето.
Этот день — словно год, происходит и длится во мне,
и конца ему нет. О, не слишком ли долго все это?

Год и день, равный году. Печальная прибыль седин.
Развеселый убыток вина, и надежд, и отваги.

Как не мил я себе. Я себе тяжело досадил.
Я не смог приручить одичалость пера и бумаги.

Год и день угасают. Уже не настолько я слеп,
чтоб узреть над собою удачи звезду молодую.
Но, быть может, в пространстве останется след,
или вдруг я уйду — словно слабую свечку задую.

Начинаются новости нового года и дня.
Мир дурачит умы, представляясь блистательно новым.
Новизною своей Новый год не отринет меня
от медлительной вечности меж немотою и словом.

СОБЛЮДАЮЩИЙ ТИШИНУ

...В этом мире, где осень, где розы детские лица,
где слова суеты одинокой душе тяжелы,
кто-то есть...

Он следит, чтоб летели тишайшие листья,
и вершит во вселенной высокий обряд тишины.

КОНЕЦ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Октябрь. Зимы и лета перепалка.
Как старый фолиант без переплета —
потрепанная ветром ветхость парка.
И вновь ко мне взывает перепелка.

Зовет: — Приди, губитель мой родимый.
Боюсь я жить в моем пустынном поле.
Охотник милосердный и ретивый,
верши судьбу моей последней боли.

Но медлю я в ночи благословенной,
украшенной созвездьями и тишью.
И безнадежно длится во вселенной
любовь меж мной и этой странной птицей.

С ТЕХ ПОР

Сколько хлопьев с тех пор,
сколько капель,
сколько малых снежинок в снегу,
сколько крапинок вдавлено в камень,
что лежит на морском берегу,
сколько раз дождик лил по трубе,
сколько раз ветерок этот дунул,
сколько раз о тебе, о тебе,
сколько раз о тебе я подумал!



«О милая!» — так я хотел назвать
ту, что мила, но не была мне милой.
Я возжелал свободы легкокрылой,
снедал меня ее пустой азарт.

Но кто-то был—в дому, или в толпе,
или во мне... Он брал меня за локоть
и прекращал моих движений легкость,
повелевая помнить о тебе.

Он был мой враг, он врал: «Прекрасна та».
Ты, стало быть. Ты не была прекрасна.
Как мне уйти, я думал, как прокрасться
туда, где нет тебя, где пустота?

Как он любил, как он жалел твою
извечную привычку быть любимой!
Все кончено. Побег необходимый
я никогда уже не сотворю.

Но кто он был, твоим глазам, слезам
столь преданный, поникший пред тобою?
Я вычислял, и мудростью тупою
вдруг вычислил, что это был я сам.

ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ С ПРОСПЕКТА РУСТАВЕЛИ

Ошибся тот, кто думал, что проспект
есть улица. Он влажный брег стихии
страстей и таинств. Туфельки сухие,
чтоб вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли! Как тяжек труд ходьбы
красавицам! Им стыдно или скушно
ходить, как мы. Им ведомо искусство
скольжения по острой судьбы.

Простое слово чуждо их уму,
и плутовства необъяснимый гений
возводит в степень долгих песнопений
два слова: «Неуже-ели? Почему-у?»

Ах, неуже-ели это март настал?
Но почему-у так жарко? Это странно!
Красавицы средь стекол ресторана
пьют кофе — он угоден их устам.

Как опрометчив доблестный простак,
что не хотел остаться в отдаленьи!
Под взглядом их потусторонней лени
он терпит унижение и страх.

Так я шутил, так брезговал бедой,
покуда на проспекте Руставели
кончался день. Платаны розовели.
Шел теплый дождь. Я был седым-седой.

Я не умел своей душе помочь.
Темнело небо — медленно и сильно...
И жаль мне было, жаль невыносимо
Есенина в ту мартовскую ночь.

ДАЧНАЯ СЮИТА

Старомодные тайны субботы
соблюдают свой нежный сюжет.
В этот сад, что исполнен свободы
и томленья полночных существ,

ты не выйдешь — с таинственным мужем,
ты в столовой сидишь допоздна.
Продлевают ваш медленный ужин
две свечи, два бокала вина.

И в окне золотого горенья
все дыханье, все жесты твои
вняты сердцу и скрыты от зренья,
как алгетских садов соловьи.



Когда бы я, не ведая стыда,
просил прохожих оказать мне милость
иль гения нелепая звезда
во лбу моем причудливо светилась, —

вовек не оглянулась бы толпа,
снедаемая суетой слепую.
Но я хотел поцеловать тебя
и потому был окружен толпою.

Пойдем же на вокзал! Там благодать,
там не до нас, там торопливы речи.
Лишь там тебя смогу я целовать —
в честь нашей то ль разлуки, то ли встречи.

СЕВЕРНАЯ БАЛЛАДА

Только степи и снег.
Торжество белизны совершенной.
И безвестного путника вдруг оборвавшийся след.

Как отважился он
фамильярничать с бездной вселенной?
В чем разгадка строки,
ненадолго записанной в снег?

Иероглиф судьбы,
наделенный значением крика, —
человеческий след,
уводящий сознание во тьму...

И сияет пространство,
как будто открытая книга,
чья высокая мудрость
веки невнятна уму.

О Ч К И

Памяти Симона Чиковани

Вот кабинет, в котором больше нет
Хозяина, но есть его портрет.
И мне велит судьбы неотвратимость
Сквозь ретушь отчуждения, сквозь дым
Узнать в лице пресветлую родимость
И суть искусства, явленную им.

Замкнул в себе усопших книг тела
Аквариум из пыли и стекла...
Здесь длилась книг и разума беседа,
Любовь кружила головы в дому.
И это все, что кануло бесследно,
Поэзией приходится уму.

Меня пугают лишь его очки —
Еще живые, зрячие почти.
Их странный взгляд глубок и бесконечен,
Всею слепотой высматривая свет,
Они живут, как золотой кузнецик,
И ждут того, чего на свете нет.



В ночи непроходимой, беспросветной
являлась смерть больной душе моей
и говорила мне:—За мною следуй!
И я молчал и следовал за ней.

Я шел за ней до рокового края.
В пустое совершенство глубины
вела стена, холодная, сырая, —
я осязал камня той стены.

Подумал я — в живой тоске последней,
внушающей беспамятство уму:
неужто опыт мудрости посмертной
я испытаю раньше, чем умру?

Я видел тайну, и открытье это
мне и поныне холодит чело:
там не было ни темноты, ни света,
ни тишины, ни звука — ничего.

НОСТАЛЬГИЯ

«Беговая», «Отрадное»... Радость и бег
этих мест — не мои, не со мною.
Чужеземец, озябший, смотрю я на снег,
что затеян чужою зимою.

Электричества и снегопада труды.
Электричка. Поля и овраги.
Как хочу я лежать среди глубокой травы
там, где Йори и там, где Арагви.

Северяне, я брат ваш, повергнутый в грусть.
Я ослеп от бесцветья метели.
Белый цвет — это ласточек белая грудь.
Я хочу, чтобы птицы летели.

Я хочу... Как пуста за изгибом моста
темнота. Лишь кусты и вороны.
«Где ты был и зачем?» — мне готовит Москва
домочадцев пустые вопросы.

«Беговая», «Отрадное»... Кладбища дач.
Неуместных названий таблицы.
И душа, ослабев, совершает свой плач,
прекращающий мысль о Тбилиси.

●

Он ждал возникновенья своего
из чаш небытия, из мглы вселенной.
Затем он ждал—все к этому вело —
то юности, то зрелости степенной.

Печально ждал спасенья от любви,
затем спасенья от любви печальной.
Хвалы людей и власти над людьми
он ждал, словно удачи чрезвычайной.

Когда он умер, он узнал про смерть,
что только в ней есть завершенность жеста.
Так первый раз сумел он преуспеть
вполне и навсегда, до совершенства.

МАСШТАБЫ ЖИЗНИ

Как комната была велика!
Она была, как земля, широка
и глубока, как река.
Я тогда не знал потолка
выше ее потолка.
И все-таки быстро жизнь потекла,
пошвыряла меня, потолка.
Я смеялся, купался и греб...
О детских печалей и радостей смесь:
каждое здание — как небоскреб,

каждая обида — как смерть!
Я играл, и любимой игрой
был мир — огромный, завидный:
мир меж Мтацминдой и Курой,
мир меж Курой и Мтацминдой...
Я помню: у девушки на плечах
загар лежал влажно и ровно,
и взгляд ее, выражавший печаль,
звал меня властно и робко.
Я помню: в реке большая вода,
маленькие следы у реки...
Как были годы длинны тогда,
как они сейчас коротки!



Когда я целую тебя,
ты на цыпочки привстаешь, —
ты едва до меня достаешь,
когда я целую тебя...

Как я мало еще совершил.
Я — как путник в далеком пути.
Словно до недоступных вершин,
до тебя мне идти и идти.

СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Я видел белый цвет земли,
где безымянный почерк следа
водил каракули средь снега
и начинал тетрадь зимы.

Кого-то так влекло с крыльца!
И снег — уже не лист бесцельный,
а рукопись строки бесценной,
не доведенной до конца.



Родное — я помню немало родных
и лиц, и предметов... Но сколько?
Родное — всего лишь холодный родник,
потрогаешь камень—и скользко,
и чисто,
и весело,

и глубоко.

Дышать там легко, а видать — далеко.
В подоле горы, в подоле горы
подольше гори, подольше гори...
А он говорит и на солнце горит,
и всё это так не расскажется.
О сердце, немало ты примешь обид
и все же потом не раскаешься...

СТИХОТВОРЕНИЕ С ПРОПУЩЕННОЙ СТРОКОЙ

Земля, он мертв. Себе его возьми.
Тебе одной принадлежит он ныне.
Как сеятели горестной весны,
хлопочут о цветах его родные.

Чем обернется мертвость мертвеца?
Цветком? Виденьем? Холодком по коже?
Живых людей усталые сердца
чего-то ждут от мертвых. Но чего же?

Какая связь меж теми, кто сейчас
лежит во тьме, насыщенной веками,
и теми, кто заплаканностью глаз
вникает в надпись на могильном камне?

Что толку в наших помыслах умнейших?
Взывает к нам: — Не забывайте нас! —
бессмертное тщеславие умерших.

ПЕСНЯ

Я, как гора, угрюм. А ты горда,
как город, превзошедший города
красой и славой, светом и стеклом.
И вряд ли ты займешься пустяком
души моей. Сегодня, как всегда,
уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда
в душе моей, которая тверда
в своей привычке узнавать в луне
твое лицо, ниспосланное мне.
Но что луне невзрачная звезда!
Уходят из Тбилиси поезда!

Уходит жизнь — не ведаю куда.
Ты не умрешь. Ты будешь молода.
Вовеки оставайся весела.
Труд двух смертей возьму я на себя.
О, не грусти в час сумерек, когда
уходят из Тбилиси поезда.



Когда б я не любил тебя — угрюмым,
огромным бредом сердца и ума, —
я б ждал тебя, и предавался думам,
и созерцал деревья и дома.

Я бы с родней досужей препирался,
и притворялся пьяницей в пивной,
и алгебра ночного преферанса
клубилась бы и висла надо мной.

Я полюбил бы тихие обеды
в кругу семьи, у скромного стола,

и развлекался скудостью беседы
и вялым звоном трезвого стекла...

Но я любил тебя, и эту муку
я не умел претерпевать один.
О, сколько раз в мою с тобой разлуку
я бедствие чужой души вводил.

Я целовал красу лица чужого,
в нем цвел зрачок — печальный, голубой,
провидящий величие ожога,
в мой разум привнесенного тобой.

Так длилось это тяжкое, большое,
безбожное чудачество любви...
Так я любил. И на лицо чужое
родные тени горечи легли.



Я, человек, уехавший из Грузии,
боготворящий свой родимый край,
колена преклонив, просить берусь я:
дай, боже, мне уменья, силы дай —
такое написать стихотворенье,
чтобы оно, над скалами звеня,
спасло бы не от смерти —
от забвенья
на родине возлюбленной
меня!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты — маленькая ростом. Я — высок.
Ты — весела, но я зато — печален.
На цыпочки ты встанешь—и висок
с моими поравняется плечами.

Вот так мы и встречаем каждый день,
и разница сближает нас глубоко...
О ты, моя коротенькая тень!
Я тень твоя, но павшая далеко.

БЕГСТВО ОТ ТЕБЯ В МЦХЕТУ

О, как дожди в то лето лили!
А я бежал от нас двоих.
Я помню мертвенные лики
старух молящихся,
до них —
о, не было до них мне дела,
их вид меня не поражал.
Я помню лишь, как ты глядела,
как улыбалась... Я бежал!
И здесь, в старинной Мцхете вещей,
смеялся я, от солнца слеп,
но в этой клинописи вечной
твоей руки я видел след,
ты здесь играла, рисовала,

ты и тогда была умна
и камням этим раздавала
иероглифы и имена.

Гора лежала, словно буйвол, —
так тяжела и высока,
у ног ее, в движенье буйном,
текла и падала река.
И ворот неба был распахнут,
и синевою обжигал,
и луг был заново распахан...
А я — все от тебя бежал!
Зеленые, как у рыбацки,
глаза мне виделась твои, —
я словно в каменной рубашке
спасался от твоей любви.
Я помню плач и конский храп.
Как долго мной ты помыкала!
Я гордо превращался в храм,
но... это мне не помогало!



Домик около моря. О, ты —
только ты, только я в этом доме.
И невидимой формы цветы
ты приносишь и держишь в ладони.
И один только вид из окна —
море, море вокруг без предела.

Спали мы. И его глубина
подступала и в окна глядела.
Мы бежали к нему по утрам,
и оно нас в себя принимало.
И текло по плечам, по рукам
и легко холодком принимало.
Нас вода окружала, вода,
литься ей и вовек не пролиться.
И тогда знали мы и тогда,
что недолго все это продлится.
Все смешается: море, и ты,
вся печаль твоя, тайна, и прелесть,
и неведомой формы цветы,
и травы увядающей прелесть.
В каждом слове твоём соловьи
пели, крылышками трепетали.
Были губы твои солоны,
твои волосы низко спадали...
Снова море. И снова бела
кромка пены. И это извечно.
Ты была! В самом деле была
или нет! Это мне неизвестно.

НА СМЕРТЬ Э. ХЕМИНГУЭЯ

Охотник непреклонный!
Целясь,
ученого ты был точней.
Весь мир оплакал драгоценность
последней точности твоей.

Т И Й Ю¹

Чужой страны познал я речь,
и было в ней одно лишь слово,
одно — для проводов и встреч,
одно — для птиц и птицелова.

О Тийю! Этих двух слогов
достанет для «прощай» и «здравствуй»,
в них — знак немилости, и зов,
и «че за что», и «благодарствуй»...

О Тийю! В слове том слегка
будто посвистывает что-то,
в нем явственны акцент стекла
разбитого
и птичья нота.

Чтоб «Тийю» молвить, по утрам
мы все протягивали губы.
Как в балагане — тарарам,
в том имени — звонки и трубы.

О слово «Тийю»! Им одним,
единственно знакомым словом,
прощался я с лицом твоим
и с берегом твоим сосновым.

Тийю! (Как голова седа!)
Тийю! (Не плачь, какая польза!)
Тийю! (Прощай!)
Тийю (Всегда!)
Как скоро все это... как поздно...

¹ Т и й ю — имя эстонской девушки.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Вот паруса живая тень
зрачок прозревший осеняет,
и звон стоит, и зимний день
крахмалом праздничным сияет.

Проснуться, выйти на порог
и наблюдать, как в дни былые,
тот белый свет, где бел платок
и маляра белы белила,

где мальчик ходит у стены
и, рисовальщик неученный,
среди известковой белизны
выводит свой рисунок черный.

И сумма вежливая штрихов
живет и головой качает,
смеется из-за пустяков
и девочку обозначает.

Так, в сердце мальчика проспав,
она вступает в пробужденье,
стоит, на цыпочки привстав,
вся жизненность и вся движенье.

Еще дитя, еще намек,
еще в походке ошибаясь,

приходит в мир, как в свой чертог,
погоде странной улыбаясь.

О Буратино, ты влюблен!
От невлюбленных нас отличен!
Нескладностью своей смешон
и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоём,
догадкой осенен мгновенной,
ты слышишь в ясном небе гром
любви и верности неверной?

Дано предчувствовать плечам,
как тяжела ты, тяжесть злая,
и предстоящая печаль
печальна, как печаль былая...

ПЕТЕРГОФ

Опять благословенный Петергоф
дождям своим повелевает литься
и бронзовых героев и богов
младенческие умывает лица.

Я здесь затем, чтоб не остаться там,
в позоре том, в его тоске и в неге.
Но здесь ли я? И сам я — как фонтан,
нет места мне ни на земле, ни в небе.

Ужель навек я пред тобой в долгу —
опять погибнуть и опять родиться,
чтоб описать смертельную дугу
и в золотые дребезги разбиться!

О Петергоф, свежи твои сады!
Еще рассвет, еще под сенью древа,
ликуя и не ведая беды,
на грудь Адамову лицо склоняет Ева.

Здесь жди чудес: из тьмы, из соловьев,
из зелени, из вымысла Петрова,
того гляди, проглянет Саваоф,
покажет лик и растворится снова.

Нет лишь тебя. И все же есть лишь ты.
Во всем твои порядки и туманы,
и парк являет лишь твои черты,
и лишь к тебе обращены фонтаны.



Да не услышишь ты,
да не сорвется
упрек мой опрометчивый,
когда
уродливое населит сиротство
глаза мои, как два пустых гнезда.

Все прочь лететь—о, птичий долг проклятый!
Та птица, что здесь некогда жила,

исполнила его, — так пусть прохладой
потешит заскучавшие крыла.

Но без тебя — что делать мне со мною?
Чем приукрасить эту пустоту?
Вперяю я, как зеркало ночное,
серебряные очи в темноту.

Любимых книг целебны переплеты,
здесь я хитрей, и я проникну к ним —
чтоб их найти пустыми. В переплеты
звзвильсь с тобою души этих книг.

Ну, что же, в милосердии обманном
на память мне не оброни пера.
Все кончено! Но с пятнышком туманным
стоит бокал — ты из него пила.

Все кончено! Но в скважине замочной
свеж след ключа. И много лет спустя
я буду слушать голос твой замолкший,
как раковину слушает дитя.

Прощай же! И с злорадством затаенным
твой бледный лоб я вижу за стеклом,
и красит его красным и зеленым
навстречу пробегающим огнем.

И в высь колен твое несется платье,
и встречный ветер бьет, и в пустырях
твоя фигура, как фигура Плача,
сияет в ослепительных дверях.

Проводники флажками осеняют
твой поезд, как иные поезда,
и долог путь, и в вышине зияют
глаза мои, как два пустых гнезда.



Колокола звонят, и старомодной
печалью осеняют небеса,
и холодно, и в вышине холодной
двух жаворонков плачут голоса.

Но кто здесь был, кто одарил уликой
траву в саду, и полегла трава?
И маялся, и в нежности великой
оливковые трогал дерева?

Еще так рано в небе, и для пеня
певец еще не разомкнул уста,
а здесь уже из слез, из нетерпенья
возникла чьей-то песни чистота.

Но в этой тайне все светло и цельно,
в ней только этой речки берега,
и ты стоишь одна, и драгоценно
сияет твоя медная серьга.

Колокола звонят, и эти звуки
всей тяжестью своею, наяву,
летят в твои протянутые руки,
как золотые желуди в траву.

С Н Е Г

Как обычно, как прежде, встречали мы ночь,
и рассказывать было бы неинтересно,
что недобрых гостей отсылали мы прочь
остальным предлагали бокалы и кресла.

В эту ночь, что была нечиста и пуста,
он вошел с выраженьем любви и сиротства,
как приходят к другим, кто другим не чета,
и стыдятся вины своего превосходства.

Он нечаянно был так велик и робел,
что его белизну посчитают упреком
всем, кто волей судьбы не велик и не бел,
не научен тому, не обласкан уроком.

Он был — снег. И звучало у всех на устах
имя снега, что стало известно повсюду.
— Пой! — велели ему. Но он пел бы и так,
по естественной склонности к пенью и чуду.

Песня снега была высоко сложена
для прощенья земле, для ее утешенья,
и, отважная, длилась и пела струна,
и страшна была тонкость ее натяженья.

Голос снега печально витал над толпой.
— Пой! — кричали ему. — Утешай и советуй!

Я один закричал: — Ты устал и не пой!
Твое горло не выдержит музыки этой.

На рассвете все люди забыли певца,
занимаясь заботами плача и смеха.
Тень упала с небес и коснулась лица —
то летел самолет там, где не было снега.



В быт стола, состоящий из яств и гостей,
в круг стаканов и лиц, в их порядок насушный
я привел твою тень. И для тени твоей —
вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай.

Как бы все упростилось, когда бы не снег!
Белый снег увеличился. Белая птица
преуспела в полете. И этот успех
сам не прост и не даст ничему упроститься.

Нет, не сам по себе этот снег так велик!
Потому он от прочего снега отличен,
что студеным пробелом отсутствий твоих
его цвет был усилен и преувеличен.

Холод теплого снега я вытерпеть мог —
но в прохладу его, волей слабого жеста,
привнесен всех молчаний твоих холодок,
дабы стужа зимы обрела совершенство.

Этим снегом, как гневом твоим, не любим,
я сказал своей тени: — Довольно! Не надо!
Оглушен я молчаньем и смехом твоим
и лицом, что белее, чем лик снегопада.

Ты — во всем. Из всего—как тебя мне извлечь?
Запретить твоей тени всех сказок чрезмерность,
твое тело услышать, как внятную речь,
где прекрасен не вымысел, а достоверность?

Снег идет и не знает об этом. Летит
и об этом не ведает белая птица.
Этот день лицемерит и делает вид,
что один, без тебя он сумеет продлиться.

О, я помню! Я сам был огромен, как снег.
Снега не было. Были огромны и странны
возле зренья и слуха—твой свет и твой смех,
возле губ и ладоней — вино и стаканы.

Но не мне быть судьей твоих слов и затей!
Ты прекрасна. И тень твоя тоже прекрасна.
Да хранит моя тень твою слабую тень
там, превыше всего, в неуютном пространстве.



Я попросил подать вина и пил.
Был холоден не в меру мой напиток.
В пустынном зале я делил мой пир
со сквозняком и запахом опилок.

Несмелый локоть горестной зимы
из тьмы, снаружи лег на подоконник.
Из сумрачных берлог, из мглы земли,
навечно, многих, но не знаю, скольких,

рев паровозов вышел и звучал.
Не ведаю, что делалось со мною,
но мне казалось — плач их означал
то, что моею было тишиною.

Входили люди, супа, папирос
себе просили, поступали просто
и упрощали разноречивое сиротств
до одного и общего сиротства.

Они молчали, к помыслам своим
подняв многозначительные лица,
как будто что-то, ведомое им,
намеревалось грянуть и случиться.

Их тайна для меня была темна.
Я не спешил расспрашивать об этом.
Желанием моим или вина
было—увидеть снег перед рассветом.

Снег начинался около крыльца,
и двор был неестественно опрятен,
словно постель умершего жильца,
где новый штрих уже невероятен.

Свою печаль я укротил вином,
но в трезвых небесах неукротенных
звучала встреча наших двух имен
предсмертным звоном двух клинков скрещенных.

ШЕЛ ДОЖДЬ...

Шел дождь — это чья-то простая душа
пеклась о платане, чернеющем сухо.
Я знал о дожде. Но чрезмерность дождя
была впечатленьем не тела, а слуха.

Не помнило тело про сырость одежд,
но слух оценил этой влаги избыток.
Как громко! Как звонко! Как долго! О, где ж
спасенье от капель, о землю разбитых!

Я видел: процессии горестный горб
влачится, и струи небесные льются,
и в сумерках скромных сверкающий гроб
взошел, как огромная черная люстра.

Быть может, затем малый шорох земной
казался мне грубым и острым предметом,
что тот, кто терпел его вместе со мной,
теперь не умел мне способствовать в этом.

Не знаю, кто был он, кого он любил,
но как же в награду за сходство, за странность,
что жил он, со мною дыханье делил,
не умер я — с ним разделить бездыханность!

И я не покаран был, а покорен
той малостью, что мимолетна на свете.
Есть в плаче над горем чужих похорон
слеза о родимости собственной смерти.

Бессмертья желала душа и лгала,
хитросплетенья дождя расплетала,
и капли, созревшие в колокола,
раскачивались и срывались с платана.

ПИЦУНДА

Эта зелень чрезмерна для яви.
Это — сон, разумеется,
сон о зеленом...

Ветру не терпится вялую дрему тумана
вывести, выволочь, вытолкнуть из сосняка,
и туман,
как и подобает большому сонному животному,
понуру следует за ветром,
и потому — все вокруг зеленое:
стена, лестница, балкон, скамья и книга —
та книга, которая всю ночь
впустую зывала к состраданию,
желая разгласить заключенную в ней боль
(словно старуха, ощутившая дыхание смерти,
столь же острое и важное,
как дыханье того, о, того,
кто когда-то впервые говорил ей о любви,
и вот теперь — к отупевшему лицу,
замкнутому, как клетка,
которой нечего держать взаперти,
изнутри подступила страсть).

Это — сон, разумеется,
длинный сон...

Шаги по сосновому полу ничем не вредят тишине.
Воздух, вобранный птичьей гортанью,
вскоре возвращается в виде зеленого свиста,
то есть не слышно, а видно,
как клюв исторгает зеленую трель,

ибо туман забрал себе и присвоил все звуки—
в обмен на право прогуливаться
среди ветвей в зеленых шлепанцах...
Изваянная, как жеребенок,
закинув голову, нюхает воздух маленькая девочка.

БЕССОННИЦА

Было темно. Я вгляделся: лишь это и было.
Зримым отсутствием неба я счел бы незримость небес,
если бы в них не разверзлась белесая щель, —
вялое облако втиснулось в эту ловушку.
Значит, светает... Весь черный и в черном, циркач
вновь покидает арену для темных кулис.
Белому в белом — иные готовы подмости.
Я ощущал в себе власть приневолить твой слух
внять моей речи и этим твой сон озадачить,
мысль обо мне привнести в бессознание твое, —
но предварительно намеревался покинуть
эти тяжелые и одноцветные стены.
Так я по улицам шел, не избрав направленья,
и злодеянье свое совершал добродетельный свет,
не почитавший останков погубленной ночи:
вот они — там или сям, где лежат, где висят —
разъединенной, растерзанной плотью дракона.
Лужи у ног моих были багрового цвета.
Утренней сырости белые мокрые руки
терли лицо мое, мысли стирая со лба,
и пустота заменила мне бремя рассудка.
Освобожденный от помыслов и ощущений,

я беспрепятственно вышел из призрачных стен
города, памяти и моего существа.

Небо вернулось, и в небо вернулась вершина —
из темноты, из отлучки.

При виде меня

тысячу раз облака изменились в лице.

Я был им ровня и вовсе от них не отличен.

Пуст и свободен, я облаком шел к облакам,
нет, как они, я был движим стороннею волей:
нес мое чучело вдаль неизвестный носильщик.

Я испугался бессмысленной этой ходьбы:

нет ли в ней смысла ухода от бледных ночей,
надобных мне для страстей, для надежд и страданий,
для созерцанья луны, для терпенья и мук,
свет возжигающих в тайных укрытьях души.

Я обернулся на стены всего, что покинул.

Там — меня не было. И в небеса посылала,
в честь бесконечности, дым заводская труба.



Бог памяти, бог забыванья!

Ожог вчерашнего пыланья
залечен вечностью слепую.

И та, чьего лица не помню,
была ль, покуда не ушла?

Но все надеется душа,
зияя ящиком Пандоры,
на повторенья и повторы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Я вижу день и даже вижу взор,
которым я недвижно и в упор
гляжу на все, на что гляжу сейчас,
что ныне — явь, а будет — память глаз,
на все, что я хвалил и проклинал,
пока любил и слезы проливал.
Покуда августовская листва
горит в огне сентябрьского костра,
я отвергаю этот мед иль яд,
для всех неотвратимый, говорят,
и предвкушаю этот яд иль мед.
А жизнь моя еще идет, идет...

КОМНАТА

Поступок неба — снегопад.
Поступок женщины — рыданье.
Капризов двух и двух услад
вот совпаденье и свиданье.

Снег, осыпаясь с дальних лун,
похож на плач, и сходство это
тревожит непроглядный ум
и душу темную предмета.

Слезе содеяна зрачком,
по плач — занятье губ и тела.
Земля и женщина ничком
лежали, и метель летела.

СОН

Земля мерещится иль есть.
Что с ней? Она бела от снега.
Где ты? Все остальное есть.
Вот ночь — для тьмы, фонарь — для света.

Вот я — для твоего суда,
безропотно, бесповоротно.
Вот голос твой. Как он сюда
явился, боже и природа?

Луна, оставшись начеку,
циклопов взор втесняет в щелку.
Я в комнату ее влеку,
и ты на ней покоишь щеку.

БЕЛОЕ ПОЛЕ

Я крепко спал при дереве в окне
и знал, что тень его дрожащей ветви —
и есть мой сон. Поверх тебя во сне
смотрели мои сомкнутые веки.
Я мучился без твоего лица!
В нем ни одна черта не прояснилась.
Не подлежала ты обзору сна
и ты не снилась мне. Мне вот что снилось:

на белом поле стояли кони.
Покачиваясь, качали поле.

И все раскачивалось в природе.
Качанье знают точно такое
шары, привязанные к неволе,
а также водоросли на свободе.

Свет иссякал. Смеркались небеса.
Твой облик ускользал от очевидца.
Попав в силки безвыходного сна,
до разрыванья сердца пела птица.
Шла женщина — не ты! — примяв траву
ступнями, да, но почему твоими?
И так она звалась, как наяву
зовут одну тебя. О, твое имя!
На лестнице неведомых чужбин,
чей темный свод угрюм и непробуден,
непоправимо одинок я был,
то близорук, то вовсе слеп и скуден.
На каменном полу души моей
стояла ты — безгласна, безымянна,
как тень во тьме иль камень меж камней.
Моя душа тебя не узнавала.

ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ

Следи хоть день-деньской за шахматной доской —
всё будет пешку жаль.

Что делать с бедной пешкой?

Она обречена.

Ее удел такой.

Пора занять уста молитвой иль усмешкой.

Меняет свой венец на непреклонный шлем
наш доблестный король, как долг и честь велели.
О, только пригубить текущий мимо шлейф —
и сладко умереть во славу королевы.

Устали игроки.

Все кончено. Ура!

И пешка, и король летят в одну коробку.

Для этого, увы, не надобно ума,
и тщетно брать туда и шапку, и корону.

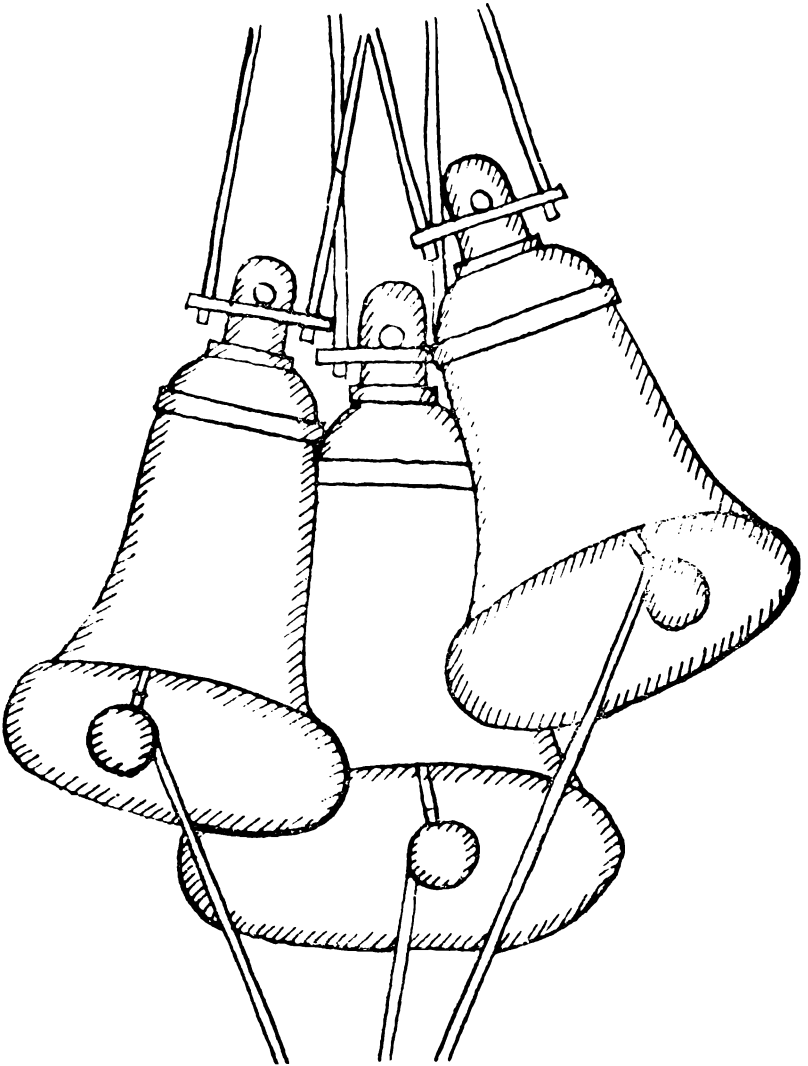
Претерпеваем рознь в честь славы и войны,
но в крайний час—

навек один другому равен.

Чей неусыпный глаз глядит со стороны?

И кто играет в нас, покуда мы играем?

Зачем испещрена квадратами доска?
Что под конец узнал солдатик деревянный?
Восходит к небесам великая тоска —
последний малый вздох фигурки безымянной.



Проза

ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает, и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клекот, который все нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поет сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври — остроконечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уже все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также все остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О друзья, лишь поэзия — прежде, чем вы,
прежде времени, прежде меня самого,
прежде первой любви, прежде первой травы,
прежде первого снега и прежде всего.

К 80-летию со дня рождения Галактиона Табидзе.

Так — приблизительно так, ведь это всего лишь перевод — сказал он в ту прекрасную пору жизни, когда душа художника испытывает молодость и зрелость как одно состояние, пользуется преимуществами двух возрастов как единым благом: равновесием между трепетом и дисциплиной, вдохновением и мастерством. В мире свершились великие перемены, настоящее время ощущалось не как длительность, а как порыв ветра на углу между прошлым и будущим. Энергия этого ветра разведала знамена, охладила щеки, предопределяла суть и форму стихов. Он был возбужден, зачарован. Он ликовал. К этому времени он пережил и написал многое.

Светает! И огненный шар
раскаленный встает из-за моря...
Скорее — знамена!
Возжаждала воли душа,
и раннюю ранью, отвесной тропею,
раненой ланью спеша,
летит к водопою...
Терпеть ей осталось немного.
Скорее — знамена!
Слава тебе, муку принявший
и павший в сражении витязь!
Клич твой над нами витает:
— Идите за мною, за мною!
Светает! Сомкнитесь,
сомкнитесь, сомкнитесь!
Знамена, знамена...
Скорее — знамена!

(1917)

Еще в двенадцатом году было написано и с тех пор пребывает в классике грузинской поэзии стихотворение «Я и ночь». «В классике» — звучит величественно и отчужденно, словно вне нас, в отторженном бессмертии, в торжественном «нигде», так звучит, а значит — именно «езде», в достоверной материи пространства, в живой плоти людей. Ночь — время и место поэтического действия, предмет созерцания и сама соглядатай, ночь — образ мироздания, вплотную подведенный к зрению и слуху. Я — и ночь, я — и мерцающая Вселенная, и неуголимая мука, творящаяся между нами, — суть моего ремесла, от которого нет отдыха и защиты. Можно сказать так, но это совсем не похоже на волшебство, ускользающее от иноязычного исследователя этого стихотворения. Попробую сказать по-другому:

Только ночь — очевидец
невидимой муки моей.
И мое тайнословье —
всеведущей — ведомо ей.

Почти точно, но какая пустая бездна несоответствия вмещается в это «почти»! Но он сказал: «Я и ночь», раз навсегда присвоив ночь себе и предав себя ей, станемте искать его в ночи, павшей на тбилисские улицы, дворы и закоулки.

В пятнадцатом году — «Мери». Бедная, счастливая, неверная, прекрасная Мери! Все уста, открытые для грузинской речи, вовеки будут повторять ее имя, и все потому, что с другим, с другим венчалась она в ненастную ночь, не оставив поэту никакого утешения, кроме его собственных стихов, да Шекспира, который один мог соответствовать этой скорби.

Ночь, Мери, Знамена. Ранящий мир, любовь, события истории воспринимаются и воспроизводятся им с равным

пристрастием сердца, единственным ведомым ему способом.

Наши души белеют белее, чем снег.

Занимается день у окна моего.

И приходит поэзия — прежде, чем свет,
прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Так написал он, когда был еще молод и уже достаточно многоопытен, чтобы сформулировать свою главную страсть и доблесть и вынести ее в заглавие личности, своей судьбы, драгоценных для Грузии и общей культуры людей. Нет ли в этой формуле профессиональной замкнутости, усеченности? Видимо, нет. Ведь, когда он писал это, его звали Галактион Табидзе, а вскоре стали звать и теперь зовут Галактион, и только, потому что на его земле его имя не требует уточнения, он—единственный. И я счастлива, что неисчислимо много раз я видела, как действует это имя на самых разных жителей Грузии, каким выражением света и многознания отзываются их лица на заветный пароль этого имени. Счастлива, что вообще на свете бывает такая любовь всех, действительно всех людей к своему поэту, к своей поэзии. Только об этой любви и хотела я повести речь, чтобы вовлечь, заманить в нее новых пленников, как меня когда-то вовлекли и заманили добрые люди — а потом уже сам Галактион, когда душа была возделана, готова и открыта для любви. Все мы знаем, что многие творения великих грузинских поэтов блестяще переводились на русский язык, но это не вполне относится к Галактиону Табидзе, чья хрупкая и прихотливая музыка легко разрушается даже от бережного прикосновения, — в чем тут дело, не берусь судить. Иногда кажется, что сами стихи его одушевленно упорствуют в непреклонном желании остаться в естественной и неприкосновенной гармонии родного языка, не хотят нести неизбежного убытка.

Пристальное чтение станет легче и благодатней для нас, если мы предположим ему предысторию заведомой нежности к поэту, к его мятежному и сложному нраву, к его обширному, не простому, многообразному творчеству, столь дорогому для тех, кто говорит с ним на одном языке. А уж в этом надо поверить им на слово.

Так я поверила Вам, батону Сандро, старый кахетинский крестьянин, чьи руки можно читать, как книгу о щедрой земле, о долгом труде. Спасибо Вам, что Вы позвали нас в дом лишь за ту заслугу, что мы были путники, бредшие мимо, что луна вставала над виноградником, что стихи Галактиона, сложные для некоторых специально ученых людей, для Вас были вовсе просты.

Вы, пекари из райской преисподней, где всю ночь сотворяется хлеб, мне жаль, что мой перевод «Мери» много не совершенней горячего хлеба, вознаградившего меня за этот труд.

Вы, несравненный Ладо Гудиашвили, как я люблю Ваш дом — я только в последний раз заметила, как он красив сам по себе, прежде я все не замечала, что вообще есть дом, — все смотрела, как Вы похаживаете возле Ваших дивных полотен, застенчиво объявляя их названия и смысл, ободряя родительским взором соцветья и созвездья красок. Ваша память и Ваше искусство многое знают о Галактионе.

А Вас мне не сыскать, ночной сторож, мы грелись возле Вашего костра. Вы не раз видели Галактиона, он бродил по этим улицам, ему было легко и просто говорить — Вы сказали: «Говорить со мной, с таким, как я». Таких, как Вы, я не встречала больше, но и другие люди рассказывали похожие истории...

И вот, всех упомянутых и всех неупомянутых людей я поздравляю с лучшей радостью, с днем рождения великого

поэта, чья жизнь все будет длиться и расти, и смерти его не останется вовсе — останутся рождение и стихи.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?
Лишь последнего жду я венка твоего.
И уже заклинанья срываются с губ:
Жизнь. И Смерть. И Поэзия — прежде всего.

ОТРЫВОК

Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображенный, искаженный их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!

Но платаны на проспекте Руставели — розовели в честь предстоящей зимы!

Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости желтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они взывали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но все же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого перedelкинского гостя — восемь лет

прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отступится она от Метехи?

Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли. По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык еще живет во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в привольи долгого «и». Как мучалась я из-за этой, не данной мне, музыки—мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, еще недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели ее жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.

Да, нет счастья надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.

«ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ»

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щек, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щеки, вздор и угрюмое желание зарифмовать все, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, перышко, немного черноты, условная дань чужой зиме. Так же, как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горе.

Обремененный лишь легкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётном его походки и теперь совершенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим —

К 70-летию со дня рождения Симона Чиковани.

совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели
по той дороге, странник и чужак,
я проходил?
Горвашское ущелье,
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним небывалостью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорек и строг.

Мне снился сон—и что мне было делать?
Мне снился сон— я наблюдал его.
Как точен был расчет—их было девять:
дубов и дэвов. Только и всего...
...Я шел и шел за девятью морями.
Число их подтверждали неспроста
девять ворот, и девять плит Марабды,
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять», столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих «квеври» — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое род-

ство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее, чем талант другого человека. Но вот Симон Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая муки,
ты канула, как бедная звезда.
На белом муле, о, на белом муле
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой легкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолетных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горюшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоученые люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит,
и средь тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире—для меня. В старинной синеве сумерек, доверху наполненных снегопадом, в качании андерсеновского фонаря, вдруг—милое, быстрое лицо, не умеющее медлить в одном выражении, сейчас сосредоточенное на улыбке радости и привета. Затем—ошибусь между тропинкой и сугробами, под дополнительным снегопадом с задетых деревьев—к дому и в дом. В теплых сенях—беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.

— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходится мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сотовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, что больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О, девять раз изведавшему это
не боязно однажды умереть.

Разумеется. И я так думаю. Но вот он спускается с крыльца, уходит, оборачиваясь и улыбаясь, в голубую глущину вселенной, уже никаким объятием нежности его не удержишь, и снега, звезды, деревья смыкаются над ним—навсегда. Как я потом полечу, поеду, поплетусь, как потащу себя вверх по той лестнице, в те комнаты, большими окнами озирающие цирковую площадь, как совладаю со слепотою плача?

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединять воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!
Дождь дорогу марает и моет —
это он подает мне намек,
что не столько я стар, сколько молод.
Слышишь?—в тутовых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим эти речи на миг,
лишь на миг прекратим эти речи.

АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне ее рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась утром, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в мое окно, радио гремело: «У любви, как у

К 50-летию поэтессы.

пташки, крылья...» Начинался день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, острозрячего Симона, дача была неподалеку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горе, четко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащенные высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки еще не иссякли, и Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнаешь: Анна — прекрасна!» К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и ее язык, собственный, ведомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объему и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю, потому, что облик ее поразил и растрогал меня хрупкостью очертаний, серьезнейшей скромностью и тишиной—о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и не совершают лишних поступков.

Потом, в Москве, в счастливом уединении, я переводила стихотворения Анны Калапададзе, составившие ее первую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелеными обоями плыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвиме, Орцхали... Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Ее страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, все еще не утолена, склоняет ее к мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живет и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за со-

цветие магнолии, за безымянный стебелек. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне все равно, но Анна и цветок по имени «иа» были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.

Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тогда предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была—хуже. Но много лет прошло, и я еще улучшусь, Анна, я вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишенные первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моем родном языке, а славно и нежно звучали.

До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: «Мравалжамнер, многие лета!»

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...

Стихотворение, подлежащее переводу, проживает сложную, трехкратную жизнь. Оно полнокровно существует на родном языке и потом как будто умирает в подстрочнике. Лишенное прежней стройности и музыки, оно кажется немым, бездыханным. И это — самый опасный, самый тревожный момент в судьбе стихотворения. Как поступит с ним переводчик? Сумеет ли он воскресить его, даровать ему

новую жизнь, не менее щедрую и звучную, или так и оставит его неодоушевленным?

Мне всегда казалось, что в подстрочном переводе есть что-то обнаженное, беззащитное. Он — дитя, оставленное без родительского присмотра. Теперь от переводчика, человека постороннего, зависит: усыновить ли это дитя, вдохнуть ли в него всю свою нежность и заботу, или так и оставить его убогой сиротой в чужом языке.

Поэтому я думаю, что перевод — это проявление огромного доверия двух поэтов, где один из них приобщает другого к своей сокровенной тайне. И тому, другому, нужно иметь много деликатности, пронизательности и фантазии, чтобы по контурам подстрочника восстановить действительный облик стихотворения, подобно тому, как ученый восстанавливает по черепу черты прекрасного древнего лица.

Вероятно, смысл перевода сводится к одному — переведенное стихотворение должно стать не смутным намеком на его первоначальные достоинства, а полноправным участником другой поэзии, праздником другого языка.

Но все это — очевидно, и спор возникает только вокруг пределов точности, не установленных до сих пор.

Мне хотелось бы сослаться на свою работу над переводами грузинских поэтов — не потому, что я считаю ее учительным примером, а просто потому, что в ней я осведомлена больше, чем в какой-либо другой, может быть более удачной.

Должна признаться, что я никогда не старалась соблюдать внешние приметы стихотворения: размер, способ рифмовки — исходя при этом из той истины, что законы звучания на всех языках различны. Полная любви и участия к доверенным мне стихам, я желала им только одного — чтобы они стали современными русскими стихами, близкими современному русскому читателю.

Пытаясь сохранить нежную, сбивчивую, трепетную речь Анны Каландадзе, прекрасную странность ее оборотов, я часто прибегала к свободным, необременительным размерам. Я брала за основу строки подлинника, цельность которых не имела права нарушить: «О, есть что-то, безмерно заставляющее задуматься...», «Я слечу на твои синие ветки, сирень...» — и приспособливала к ним все стихотворение. Кроме того, этим замедленным ритмом мне хотелось подчеркнуть задумчивость, сердечную рассеянность поэтессы, необыкновенную привольность ее души. И напротив, напряжение острого чувства, патриотического, любовного, я пробовала передать короткой, напористой строкой, отчетливыми рифмами.

Я точно повторяла вслед за Каландадзе все географические названия в их подборе — тоже качество ее поэтического характера, ее страстная привязанность к Грузии.

Иногда, увлекаясь стихотворением, я позволяла себе некоторую свободу — но для того только, чтобы компенсировать потери, обязательные при переводе на другой язык.

Для грузинского читателя не секрет, что в прекрасном стихотворении Симона Чиковани «По пути в Сванетию» нет строк, впоследствии появившихся в переводе: «Теперь и сам я думаю — ужели по той дороге, странник и чудак, я проходил...» Но не думаю, чтобы этим определением — «странник и чудак», выбранным по собственной воле, я обманула русского читателя — я хотела еще раз напомнить ему о том, как причудлив, капризен внутренний мир этого поэта.

Мне пришлось несколько упростить стихотворение «Девять дубов», чтобы сделать его доступным русскому воображению, не испытывающему благоговения перед таинственной цифрой девять, плохо осведомленному в повадках дэвов.

Чтобы читатель не был строг к замысловатым образам

стихотворения, не спрашивал с них строгой реальности, я ввела в конце строки, намекающие на восточную сказочность, на волшебство, открытое поэту: «В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть».

Я думаю, что иногда переводчик волен опустить те или иные детали, имея в виду не только разницу языков, но и разницу в поэтической психологии, в кругу образов различных народов.

В стихотворении Чиковани «Задуманное поведай облакам» есть строки: «Красотой своей ты наполнила кисеты моей души...» Полностью доверяя поэту, мне очень дорогому, я ни минуты не сомневалась, что по-грузински этот образ поэтичен и закономерен. Но в дословном переводе на русский язык он звучит грубо, почти вульгарно, и я попыталась обойтись без него, тем более, что очарование женщины и чувство поэта и так были очевидны.

Таким образом, автору угрожают две опасности со стороны переводчика, две свободы: преувеличение или преуменьшение. Мне кажется, в интересах стихотворения и то, и другое в какой-то мере допустимо. И вряд ли удастся точно установить, математически вычислить — в какой именно мере. Вероятно, определить это может только сам поэт, в одном случае поступая так, в другом — иначе. Достоверным кажется мне только одно — свобода переводчика возможна до тех пор, пока она не наносит ущерба свободе автора. При переводе должны оставаться неприкосновенными весь внутренний мир поэта, лад его мышления и существенные конкретные детали поэтического материала. Так, было бы грешно, да и не нужно, изменить эти, например, точные строки Чиковани: «А после — шаль висела у огня...», «Колени я укрепил ходьбою...», «Изогнутою, около Двуречья тебя увидеть захотел я вдруг...» В них и поэтическая мысль, и заведомое русское звучание настолько

полноценны, что нет нужды их переиначивать. Это тот случай, когда грузинская грамматика обогащает русский текст. Я надеюсь, что стихотворение «Олени в гумне» обладает самостоятельным русским звучанием, и все же, конечно, это совершенно грузинское стихотворение — не только из-за отраженной в нем географии, но и из-за такого, например, странного на первый взгляд, прекрасного, грузинского образного поворота: «И вдруг, подобная фазану, невеста вышла на крыльцо...» И, наверно, переводчик должен быть очень бережен к этим проявлениям щедрого национального своеобразия.

Невольно присоединившись к дискуссии, я, кажется, не возразила ни той, ни другой стороне. Я просто хотела поделиться с товарищами по делу перевода некоторыми соображениями и подтвердить мое глубокое пристрастие к грузинской поэзии, давшей мне много радости.

ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА БУДЕТ СО МНОЙ

Мне бы тоже изложить мою точку зрения на дело художественного перевода, но у меня нет точки зрения, а есть зрение. У меня есть руки, которыми я пишу, есть мое сердце, при помощи которого я работаю, и дальше я пойти не могу.

Здесь много говорили о том, как следует переводить. Это полезно, это поучительно, и я все-таки не знаю, как надо переводить. Если бы мы знали, было бы больше прекрасных переводов Галактиона Табидзе и других.

¹ Стенограмма выступления 15 марта 1962 г.

Я еще хочу сослаться на обязательный момент — деловитость. Будем рассматривать наши совещания не только как программу работы Союза писателей, как мероприятие нашей общественной жизни, но подумаем, что привело нас друг к другу, что влечет нас встречаться и говорить об одном и том же. Я имею в виду искусство, то, что всегда сближает нас, а кроме этого у нас нет ничего.

Я рассматриваю перевод, как любовь одного человека к другому. Я так говорю не только потому, что мне довелось любить поэтов, которых я переводила, что через стихи Симона Чиковани, Анны Каландадзе я видела их облик, а потому, что я бесконечно доверяла им как поэтам и очень любила их.

Здесь говорили о подстрочниках. Наверное, жестокие слова, сказанные о подстрочнике, очень справедливы, но я думаю, что мы можем не признаваться друг другу в том, каким образом работали. Давайте будем делиться результатами нашей работы, и они скажут сами за себя.

Я не собираюсь упрекать Пастернака в том, что он прибегал к подстрочнику, потому что он постигал величайшую грузинскую поэзию, и было бы кощунством упрекать его. Я нежно отношусь к подстрочникам. Мне кажется, что подстрочник — это дитя, если можно так сказать, которое беззащитно, оно потеряло ту жизнь, в которой оно жило на родном языке, и еще не определило новой жизни. Пока это только дитя, с которым можно сделать все, что угодно. И лишь настоящее искусство поставит, направит, усыновит это дитя, сделает его не только своим ребенком, но отнесет ко всему миру, чтобы весь мир принял его в свои объятия.

Я не позволю глумиться над этим ребенком, не позволю сделать нечто дурное, пусть дитя всегда будет прекрасным.

Мне кажется, что есть еще один обязательный прием

перевода, это — одержимость. Я буду на этом настаивать, и я говорю это не о себе, а о других. Товарищи, которые принимают участие в этом совещании, это люди, вооруженные не только знанием своего дела, но и своей способностью познать поэзию по подстрочнику. В наших условиях это обязательный технический прием, необходимый для художественного перевода. По подстрочнику только истинный поэт может понять смысл стихотворения.

Я все время говорю о поэзии, потому что больше ее знаю, и я уверена, что только настоящий поэт восстановит облик стихотворения, как облик прекрасного лица. Я ссылаюсь на себя не потому, что считаю себя примером в работе переводчика, просто я это больше знаю. Следует говорить о том, что знаешь лучше, о своем опыте, и я ссылаюсь на грузинскую литературу не в ущерб другой литературе, а опять-таки потому, что я ее больше знаю. Я специально ограничила себя переводом грузинской поэзии... Я хочу сосредоточить себя на этом языке. Я узнаю грузинские слова из тысячи других слов, я настроила себя на это и думаю, что это очень важно.

Мы говорим о пределах вольности перевода. Я думаю, что математическим способом не удастся вычислить должный предел. Мы всегда можем говорить, что можно сделать так или иначе, мы добивались переводов точных и неточных, и я знаю, что я делала. Я считаю, что истинно точным перевод можно сделать путем каких-то неточностей, потому что потери при переводе с одного языка на другой обязательно бывают. Мне никогда не удавалось восстановить звучание грузинских слов, я подчас специально нарушала размер и строй грузинского стихотворения, потому что то, что может звучать в грузинском размере, не может звучать в русском.

Опять-таки мне посчастливилось, я переводила те сти-

ли, которые казались мне прекрасными, иначе я не могла бы работать над ними. Но есть моменты, которые не подлежат точному воспроизведению. Я уже говорила когда-то, как я переводила стихи Симона Чиковани. Там были вещи, которые я не могла воспроизвести точно, потому что при всем доверии к Симону Чиковани, при огромной нежности к его поэзии, я знала, что по-грузински это прекрасно, а по-русски это не может так звучать. И при переводе Галактиона Табидзе «Тебе тринадцать лет» — эти слова по-русски не звучат поэтически, и по-русски нельзя это сказать таким образом.

Я уважаю многих товарищей, которые упрекали меня в вольности перевода Галактиона Табидзе. Дело в том, что Галактион принадлежит Грузии, но каждый грузин не обязан знать, что может угрожать Галактиону. То, что мы даем из грузинской поэзии, — это очень много, но не для Грузии, а для России. Я хочу донести стихотворения Галактиона Табидзе до русского читателя и считаю это возможным. Я не выкидывала ни строчки, не проявляла небрежности, а если и делала что-либо по-своему, то потому, что хотела осветить Галактиона по-русски так, как слышала по-грузински. Когда я хожу по ночам в Тбилиси, мне кажется, что хожу вместе с тенью Галактиона. Я знаю его стихотворение, я знаю, в чем его смысл, оно не чуждо логике, но оно все держится на музыке, которую я не могу точно воспроизвести, — не просите у меня невозможного. Я могу только сказать русскому читателю, что это звучит на грузинском языке божественно. Я хочу, чтобы русский читатель поверил мне на слово, что Галактион — великий поэт. Если бы для этого мне нужно было бы танцевать, я бы танцевала.

Я говорила, что иногда сама работа вынуждает нас к вольности. Когда я переводила стихотворение Симона Чи-

ковани «Девять дубов», я тревожилась за него, я боялась, что это «дитя» не станет любимым русским читателем. У нас число девять не принято обыгрывать. Я специально ввела в конце стихотворения строки, которых не было у Чиковани. Я хотела, чтобы читатель понял, что поэт играет с ним, я хотела облегчить русскому читателю восприятие этого стихотворения.

Но есть какая-то точность, которую нельзя нарушить, и для этой точности нам нужно менять размер и находить пути, которые должны оставить неприкосновенными грузинские обороты тогда, когда они звучат прекрасно и по-русски.

Иногда я переводила стихотворения Симона Чиковани, Анны Каландадзе не соответствующим размерам с тем, чтобы передать ту сердечную сбивчивость, которая там была, чтобы донести ее до русского читателя.

В заключение я хочу сказать, что у нас очень много работы. Но я считаю грузинскую поэзию своей, и у меня не будет покоя, пока я не переведу всего того, что должна перевести.

Грузинская поэзия всегда будет со мной. Я буду служить искусству, которое сближает нас, дарует нам счастье и всех нас украшает.

К ТАИНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Было, бывало, будет и впредь, есть и сейчас — сей, третий, час с начала дня, и все же до его начала, потому что еще длится непрочное мгновение июньской ночи — уж вы-

то его растянете, используете во всю длину сновидений, вы, баловни, счастливы, не знающие, о чем идет речь. Выглядит это так: большая, пустая, нехорошо горячая тяжесть лба прячется в ладони, и все это рушится, клонится к столу. Озвучивается это так: «Я любил этот труд превыше всякого другого труда... я служил ему, как мог... но я немог... неужели я навеки сослан на нежную каторгу чужой души, чужой любви, чужого представления обо всем, что есть?.. Дудки, довольно...» И все это — чистосердечно, и все это — ложь, друзья мои, потому что я не умею, не желаю жить без этого, да и не пробовала никогда. Но если вы и впрямь не знаете, о чем идет речь, — да все о том же: о таинственном, доблестном, безвыходно-счастливом деле перевода — я расскажу вам, как это начинается, как это для меня начиналось. Вот — ты молод, толст, румян, собственную неуязвимость принимаешь за ранимость, застенчивость выдаешь за надменность, и, украшенный всем этим, ты приезжаешь в иную страну — назовем ее: Сакартвело, — благосклонно взираешь, внимаешь, уезжаешь и понимаешь, что, уехав, ты остался навсегда в капкане нежности к ееговору, говоренню, приговариванью, к ее чужому, родимому языку, загромоздившему твою гортань горой, громом, горечью, виноградной гроздью огромного, упительного звука. Так и будешь всю жизнь горевать по нему, по его недостижимости для твоих губ и гортань. Речь идет о деле перевода, и пора бы уже упомянуть какой-нибудь исчерпывающий, все объясняющий термин, но мне неведомо литературоведение, я не преуспела в нем, не начать ли мне со слова «обреченность». Обреченность — этому ремеслу, этому языку, этому человеку — переводимому тобой поэту, а ты и не знал, что он — твой родимый брат, точно такой же, как ты, но лучше, драгоценнее тебя, и вовсе не жаль расточить, истратить, извести на него

свою речь, жизнь и душу. Вот он сидит рядом с тобой, вы говорите о пустяках, любясь друг другом, сходством, братством, нерасторжимостью навеки, но он сходит с крыльца, удаляется, углубляется в снегопад, господи боже, не тяжел ли этот снегопад его хрупким плечам, его бедному пальто, в котором нет нужды в стране Сакартвело, там в зимних садах голубеют цветы иа, или фиалки, как вам угодно. Бывало ли с вами то, что было со мною: он всего лишь спускался с крыльца, оборачивался, помахивал рукой, не было в этом никакой многозначительности, его звали Симон Чиковани, я совершенно не умела без него обходиться, да и не будет в этом никогда нужды, он просто спускался с крыльца, но я точно знала, что больше я его никогда не увижу. С того снегопада, в который он ушел, начался мой иной возраст, который больше, печальнее, но лучше молодости. Этот возраст удобен для мастерства перевода. Симон, Симон Иванович, любовь моя, радость, благодарю, что меня во мне меньше, чем вас, я вас переводила, перевела — в себя и во что-то иное, дальнейшее, чему и мой уход в снегопад вовсе не помешает. Да вот вам и термин: подстрочник. Вот как он расшифровывается: стихотворение жило, ликовало, лепетало в своем родном единственном языке, и вот оно насильственно умерщвлено, распластано перед тобой на столе — нагое, бездыханное, незащитное, оно — подстрочник, ты — переводчик, теперь все от тебя зависит: ты можешь причинить ему грубый вред дальнейшей мертвости или дать ему его же собственную, принадлежащую ему по праву, вторую, вовсе не лишнюю жизнь. И если ты не дашь ему всего, чего оно просит: музыки, утверждающей предмет его любви, свободы в твоём языке — не меньшей, большей, чем у тебя самого, — если ты не дашь, значит, — возьмешь, значит, — ты и не переводчик вовсе, а грабитель, отниматель чужого,

обкрадыватель человечества, единственного и полноправного владельца всех прекрасных стихотворений и музык. А как ты все это сделаешь, как ты вынудишь подстрочник проговориться в тайне первоначального звучания, как найдешь точное соответствие между драгоценной сутью и новым звуком, — этого я не знаю...

НА СИБИРСКИХ ДОРОГАХ

(Отрывок из рассказа)

...Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта, и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи ничего не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» все-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горячего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем Сакартвело.

Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после жары.

Все они стали упрасивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И этикие красавцы чуть не погибли в степи! — весе-

лился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натошак, все же оказывало свое действие. Как долго было все это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, круглое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; все тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И все затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

ВЕЧНОЕ ПРИСУТВИЕ

Сначала слышалось только: «Бу-бу-бу»... Это большие бабушкины губы бубнили над непрочным детским теменем, извещая его о грядущей истине, о радости, дарованной всем ни за что ни про что, просто за заслугу рождения. Потом, в сиротстве эвакуации, бормотание прояснилось в слова — до сих пор пугаюсь их нежной и безвыходной жути: «Буря мглою небо кроет...».

Много лет спустя в Тригорском, при буре и мгле, при подсвечнике в три огня, как сама по себе, отвечая заводу прошлого столетия, расплачется в клетке маленькая золотая птичка — услада одиноких зимних вечеров. Может быть, и не было ее здесь тогда, — тем хуже! Как тосковал он, как бедствовал в этих занесенных снегом местах.

Между этими двумя ощущениями — много жизни, первое беспечное обладание Пушкиным и разлука с ним на время юношеского смятенного невежества. Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берет его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости. Какое наслаждение — присвоить, никого не обделив, заполучить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызычную, как зимний день. Кстати, описание этого зимнего дня, который чудесен, с его морозом, солнцем и прелестным безмянным другом, — для всех нас достаточное основание не изведать края горестей.

Любоваться им — нелегко, мучительна тайна его ничем не скованной легкости. Откуда берется в горле такая свобода?

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса...

Впрочем, известна эта легкость и эта свобода, за все это — загнанность в угол, ожог рассудка и рана в низ живота. Так и мыкаемся между восторгом, что жив и ненаглядно прекрасен, и страшной вестью о его смерти, всегда новой и затемняющей зрение.

И вспомнил ваши взоры.
Ваши синие глаза.

Как это делается? Кажется, понимал это лишь А. Н. Вульф, считавший себя соучастником стихотворения, — ах, пусть его, наверно так и было. Но с кем? — с никудышным Алексеем Николаевичем ехал, доверчиво сиял глазами, подъезжал под Ижоры, а меня и в помине не было. Ужас тоски и ревности.

Ревности к Пушкину, как всегда, много. Все мы влюблены и ревнуем, как милое и обширное семейство Осиповых-Вульф, — к друзьям, к возлюбленным, к исследователям, к чтецам, ко всем, посягающим на принадлежность Пушкина лишь нашему знанию и сердцу.

Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточно сосредоточить на нем душу, не утяжеленную злом, чтобы услышать спасительный шум его появления — не более заметный, чем при возникновении улыбки или румянца. Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему — ему-то не у кого спрашивать позволения: «Читатель ждет уж рифмы розы»... Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на лету его галантную и небрежную розу, — в подарок или в насмешку.

Мы — путники в сторону Пушкина, и, хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, географически он

приводит нас в Михайловское; где же быть Пушкину, как не здесь? Хранитель заповедных мест, или директор заповедника, С. С. Гейченко говорит, что нужно уметь позвать того, кто насытил своим очевидным присутствием воздух парка, леса и поля, и он незамедлительно ответит: «Ау!». Милый Семен Степанович, судя по вашему многознающему лицу, заглянувшему в тайну, вам не раз выпадала удача этой переклички.

Стало быть, муки, раны и смерти, подтвержденной непреложностью белого памятника за оградой монастыря, все же недостало Пушкину для отсутствия в мире?

Но сейчас речь идет лишь о том, что Пушкин родился, и по этому случаю происходит всенародный праздник, — что же еще делать в этот день народу, породившему это дитя?

Представляю, как белые аисты, живущие над входом в усадьбу, тревожно косят острым зрачком на многотысячную толпу.

Про множество людей, сведенных в единство просвещенной любовью, уместнее сказать человечество. К каким его счастливым обращено «ау», смутно брызжащее в парке, — будто бы ответная приязнь, привет Пушкина — нам?



Он умер, прошло сто лет и еще столько, сколько было мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после дождя, я мрачно остановилась посреди парка, где некогда он бывал каждый день. Только что, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух,

полтора века назад вытесненный бешенством его детско-го бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав раздражение, как если бы он, действительно, пробегая, задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При его поспешности движений он все здесь осенил и насытил собой, и с памятью о нем пельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. И все-таки ощущение совпадения с ним было искусственным и неточным.

Чтобы полностью воспроизвести в себе какой-то миг его зрения, я расчетливо направилась туда, где это было наиболее возможно, — к источнику, который он любил наблюдать. Нетерпеливая корысть владела мною. Я уже устала думать о нем, выслеживать его дыхание, уцелевшее в пространстве, мое возбуждение нуждалось в очевидной удаче и взаимности.

Я явилась со стороны кустов, чтобы застать в спину и врасплох обнаженную мраморную фигуру, обязанную стать посредником между моим и его настроением. Я горячо ждала от нее, что она вернет моим глазам энергию его взгляда, воспринятую смуглым камнем в начале прошлого столетия. Приняв страстное заблуждение мозга за острое совершенного расчета, я могущественно нацелила его на ясные черты статуи и тут же поняла, что промахнулась, как человек, поцеловавший пустоту.

Да, конечно, он стоял именно здесь, в августе, вечером, после дождя, и видел юное бессознание этого тела, простое лицо со слабым выражением какой-то полудогадки, нежное, поникшее плечо, острую грудь, бесхитростные колени, открытые влажному падению кленовых листьев... Бог с ним! Теперь мне это было совершенно безразлично.

Разом утомившись и заскучав, я, на всякий случай, еще раз обошла вокруг, то наклоняя голову, то угрюмо всмат-

риваясь исподлобьем, но так и не испытала никакого ответа. Я попила с ладони холодной воды, пустой и скучной на вкус, и вдруг ощутив злобу и гнев, свободно пошла прочь.

Но постепенно мои нервы опять сосредоточились на нем, и влияние его парка мучительно управляло мной, как сильный взгляд в спину, придающий движениям скованность и нетрезвость. Я тупо и ловко пробивалась вперед, сквозь оранжевую мощь заходящего солнца, обезумев от сильного предчувствия, заострившись телом и помертвев, как пес, прервавший слух и зрение, чтобы не мешать ноздрям вдохнуть короткую боль искомого запаха. И вот, острым провидением лопаток, я уловила тонкий сигнал приветия, заботливо обращенный ко мне. Помедлив, я, в торжественной тишине пульсов, обернулась к этим деревьям, небесам и водам, к изваяниям, разумно белеющим среди зелени, ко всему, что не выдержало вдруг избытка его имени и в тоске и любви выдохнуло его мне в затылок.

В глубоком объеме сумерек чисто мерцало небольшое строение с хороводом колонн возле округлого входа. Откликнувшись призыву яркой белизны, я подошла и на песке возле ступеней различила резвый след маленькой ноги, лукавый и быстрый, как улыбка. Радостно засмеявшись, я ласкалась лбом к доброй прохладе колонн, обретая простоту и покой. Я знала, кто возвел их так справедливо, и благодарила его за ясность ума. Беспечная свобода удлинненного здания сдерживалась суровой и прочной дисциплиной колонн, и в их соразмерном порядке было легко на душе, как под защитой простого закона. Вероятно, и тот, ради кого я пришла сюда, отдыхал здесь от жгучей и неопределенной вспыльчивости юного мозга, упершись сильным лбом в трезвую зрелость мраморных полукружий. Образ его, утомивший меня сегодня, притих и утратил настойчи-

вость, и я могла расстаться с ним с приятным чувством победы.

Я вернулась в город и прекрасно спала в маленьком старомодном номере, даже во сне радуясь его тихому плющу и бесполезной меди канделябров.

Утром я вошла в дом, где он жил и умер, и, привязав к обуви огромные шлепанцы, поднялась в небольшую квартиру, много раз реставрированную и все же хорошо сохранившую выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивали лица к многочисленным стендам, и в этой осторожной позе все казались длинноносы и трогательно нехороши собой.

Я сразу же попала в острое чувство разлуки с ним, как будто не застала его дома вопреки ожиданию. Все его изображения и копии писем и документов не открывали мне смысла его тайны, а, напротив, отводили меня вдаль от нее, в сторону чужого и общепринятого объяснения его личности великого человека.

В одной из комнат я столкнулась с большой группой экскурсантов, возглавляемой ученой сотрудницей музея. Уверенным голосом она перечисляла печальные приметы его жизни, безошибочно тыкая указкой в долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Мне невмоготу было это слушать, и, мельком глянув на меня, она, видимо, заметила в моем лице непослушание истине, самостоятельность любви, неподвластную ее хозяйской воле. С каким-то злорадным упорством она стала обращать свои пояснения ко мне, и, попав в неловкую зависимость от ее сурового взгляда, я не могла уйти. Оценив мое смирение и несколько смягчившись, она, как для пения, повысила голос, чтобы объявить мне о его трагической гибели, но я,

с неожиданной непринужденностью животного, повернулась к ней спиной и вышла.

Теперь я очень торопилась, желая разминуться с экскурсией, но ученой женщине не терпелось наказать меня взглядом, и я слышала за спиной дыхание и топот подстрекаемой ею погони.

Все же я задержалась возле скромной витрины, хранящей под стеклом полметра мягкой черной материи, приведенной портным к изящному точному силуэту. Это был жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер поразил и разжалобил меня, и живая прочность моего тела встрепенулась в могучем сострадании, готовая к прыжку, чтобы защитить собой чью-то родимую, горячую, беззащитную худобу. Но давно уже было поздно, и слезы жалости и недоумения помешали мне смотреть...

Внизу, во дворе, где флигели и сирень все еще пребывали в кротком уюте прошлых столетий, маленькая чужая девочка радостно уставилась на меня и сказала с чистосердечной любовью: «Здравствуй». Я посчитала это доброй приметой и заторопилась ехать, как если бы он ждал меня. И я знала, где.

Теперь, когда я знала, что скоро уеду, я шла медленно, чтобы утомить и измучить себя этим городом и не жалеть о разлуке с ним. Он был слишком просто сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, блистающая логикой и прямызной, требовала художественной разгадки и угнетала: разум непрерывным трудом восхищения. Старинные здания, населенные современной обыденной жизнью, казались мне нездешними и необитаемыми, как Парфенон, и, запрокинув голову к их ясным фасадам, я испытывала темное беспокойство невежды, взирающего на небеса. Тот, чьи следы привели меня сюда, с легкостью любил этот город:

для него совершенство было будничным и произвольным вариантом формы, ничего другого ему и в голову не приходило.

ЧУДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Такая маленькая, родом из Выборга, и в облике — особенное выражение, по которому часто можно угадать истинных ленинградцев: неизгладимый отсвет благородного города, который день за днем отражался в пристальном лице человека и запечатлелся в нем чертой красоты. И — слабая голубая тень, неисцеленность от блокады, от страдания, перенесенного в младенчестве. Выпуклость лба — нежная и прочная вместе, как у людей, усугубивших врожденную склонность к знанию кропотливым трудом.

Но не в учености было дело, а в более грозной и насыщенной страсти, это я сразу поняла, когда увидела, как та, маленькая, с насупленным лбом, стоит одна между Пушкиным и множеством людей, пропуская через себя испепеляющую энергию этой вечной взаимосвязи. Казалось бы: много ли удали надо — быть экскурсоводом, но как доблестно, как отважно стояла, вооруженная указкой, готовая сопроводить к Пушкину или заслонить его собой, если вдруг сыщется среди паломников человек случайный, ленивый, грубый невежда! И, представьте себе, — сыскался.

Она говорила приблизительно вот что. В тот день Пушкин проснулся, разбуженный своей улыбкой, словно внушенной ему извне в знак близкого и неизбежного счастья. Он заметался, домогаясь найти причину нарастающей радости, выскочил на крыльцо и, по привычке зрения к прос-

тору здешних мест, глянул широко, с размахом, но близоруко увидел лишь спуск к реке, потому что над Соротью стоял туман и не пускал смотреть дальше. И вдруг, разом, без проволочки обнажилось сияющее пространство на том берегу — и душа, ликуя, ринулась на приволье. Он уже несколько часов бодро жил наяву, а непреодолимая улыбка все длилась. Он совсем забыл, почему оказался в этих отрадных местах. А ведь он всегда, ожогом гордости, помнил об этом. Не потому ли, что часть его сильной крови была сведуща в незапамятном опыте черного рабства, кровь его болела и запекалась в затылке, когда его неволили и принуждали? Но сегодня он был совершенно свободен. Только эта улыбка — кто-то поддерживал и разжигал ее своей непреклонной властью, и, когда он хотел переменить выражение губ, получался — смех... Если бы ему сказали тогда, что этот день пройдет, как все остальные, что его жизни, столь молодой, минет сто семьдесят пять лет и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости, — о, какую гримасу скуки выразил бы он переменчивым и быстрым лицом! Что значат эти пустяки в сравнении с тем, что вот-вот должно случиться! Он с утра, с начала улыбки знал, что обречен к счастью, и все же кружева, порхнувшие в двери, застали его врасплох — он испугался, что так не умен. А она, как вы знаете, была гений и светила себе на сильном солнце, не имея ни единого изъяна, как белый день и природа. Вот, кстати, ее плавный профиль, рисованный его рукой.

Но какой двоякий у нее голос: нежный и важный, как у благовоспитанного ребенка, но с потайным дном темной глубины, на устах детский лепет, а в изначалье горла — всплески бездны, взрослой, как мирозданье.

По этой аллее они гуляли, он все был неловок, и она споткнулась — о, ужас! — не был ли при этом поранен ее

башмачок? Нет, слава богу, нисколько, вот на этой скамейке, обитой зеленым, он гостил, целый и невредимый, видите подпалину на увядшей зелени? — это он потом поцеловал незримый след того башмачка. Вот каково было **чуждое мгновенье** его жизни, ставшее для прочих людей чудной вечностью наслаждения.

Тогда тот случайный и небрежный гость — помните, я говорила, что такой сыскался? — обратился к экскурсоводу и сказал приблизительно вот что. Все это нам и без вас известно. Но не кончилось же на этом дело, были у них другие мгновенья! Прошу внести ясность в этот вопрос для сведения вот этих доверчивых и наивных граждан.

Та, маленькая, со лбом и указкой, выдвинулась вперед прыжком, на который не имел права Данзас, и, обороняя уязвимую хрупкость, чьи изящные очертания сохраняет маленький жилет на Мойке, стала в упор смотреть на противника, пока он не превратился в темный завиток воздуха, вскоре развившийся в ничто. Даже жаль его, право, — разве что пошлый, а так безобидный был человек, как, впрочем, и победители роковых поединков, за смутное сходство с которыми он поплатился.

Та, о которой речь, хоть речь, как всегда, о Пушкине, жила в пристройке к длинному несуразному барскому дому, не однажды переделанному, горевшему и опять живому и здоровому. Некогда здесь обитало семейство, расточительное на дружбу и гостеприимство, возглавляемое просвещенной, пылкой и снисходительной маменькой и теткой. Барышень, своих и приезжих, всегда было в избытке, был и брат, резвый в шалостях и рифмах, не любимый мной единственно из упрямства и своеволия. Все это летало, лепетало, шелестело громоздким шелком, пело, пререкалось по-французски, было влюблено в Пушкина и любимо, дразнимо, мучимо и воспето им.

По вечерам из пристройки нам было слышно, как за стеной вздыхают одушевленные вещи, клавиши позванивают во сне, плачет заводная птичка, постукивают разгневанные или танцующие каблучки, спорят и любезничают голоса. Когда они уж очень там расходились, владелица указки строго глядела в их сторону — я знала, что она пылко ревнует Пушкина, и справедливо: он был ее жизнь и судьба, но, нимало не заботясь об этом, предавался дружбе, влюблялся, любил, а когда стоял под венцом, был бы вовсе бел лицом, если бы не его неискоренимое африканство.

Не от этой ли непоправимой тоски гуляла она вчера с приезжим бородачом, горестно запрокинув к пушкинскому небу юное старинное лицо? Впрочем, бородач в каморку не был допущен, и, когда нам уже не хватало свечи сидеть и разговаривать, мы услышали, как вошел Пушкин и уселся на табурет, подвернув под себя ногу по своему обычаю.

Вы скажете: это не Пушкин был! А я скажу: чьи же еще белки умеют так светиться в ночи, а губы темнеть в потемках, потому что кровь смуглее, чем мрак? К тому же в эту ночь пламенно белел Святогорский монастырь, и прямо над ним дрожало и переливалось причудливое многоцветье, не виданное мной доселе.

Вы скажете: это северное сияние проступило из соседних сфер. Я скажу: пусть так, а все же не раз приходил, сиживал неподалеку и однажды совсем втеснился в наше братство, хоть и скучал от наших разговоров о его вездесущей и невидимой жизни и славе.

Но тут, как на грех, случилась из города золотоволосая гостья, не сведущая в пятистопном ямбе. Она забрала себе все пламя свечи и стояла — насквозь золотая, как гений, как вечная суть женственности и красоты. Она имела в виду проведать упомянутого бородача, а того, кто сидел, под-

вернув ногу, она не узнала, да он ей и ростом мал показался, но она за дверь — и он за ней, только их и видели.

Вы скажете: а может, это все-таки не наяву было, а в стихах, например? Я скажу: если житье-бытье и бои с неукрошенным бытом — меньшая явь, чем стихи, как стану жить?

Чтобы окончательно запутать литературоведение, добавлю, что в ту недавнюю пору и в тех благословенных местах Пушкин был повсюду и на диво бодр и пригож — ведь это был октябрь, любезный его сердцу.

А может быть, дело просто в том, что Пушкина достанет на всех людей и на все времена, он один у всех нас и свой у каждого, и каждый волен обращаться с ним по своему доброму и любовному усмотрению, соотносить с ним воображение, чувства и поступки.

ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ...

Когда начинаются в тебе два этих имени и не любовь даже, а все, все — наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, еще в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, предreshающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала — ничего. Потом — проясняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном бес-

порядке младенческого беспамятства обозначается тяжелое качание ромашек, где-то под Москвой, появляются другие огромные пустыки, и на всем этом — приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того ни с сего, в Ильинском сквере, — слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стеклышко. Он умудрен и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько упадет вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, — его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяженности тогда я не оценила. Наконец куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, короткую зелень травы, коров, и в последний раз понимаю, что все — прекрасно.

Потом — в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном «всегда», прожитом к тому времени, висят надо мной по вечерам два этих бормотания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне.

— Буря мглою небо кроет... — И вдруг такая беспросветная тоска, такая боль неуюта и одиночества, беспечно-го сознания защищенности и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, — что она может поделаться с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и строки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: «Великий русский поэт родился...», и все это

придает тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует в полном объеме своего характера — в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чем другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единым страданием прочитываешь все сначала, но что-то еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь еще нечто — малое, живое, родимое, предназначенное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке с ним нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и воды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что все это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в затылок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: слава богу! один еще бегаает здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, а тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогали мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над головой — это цапли, живущие высоко над прудом, испугались бесшумного бега вни-

зу. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом — столько раз исчезающий, убитый грубостью невежд, и снова рожденный детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что легкие вдыхают вдруг боль и нет такого «ах», чтобы ее выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был темен и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Ученый и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населенный ревностью, любовью и тоской, — все здесь обожжено и заплакано ими. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени — минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку — бессмертная птичка в клетке, умеющая открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завел ее ночью и слушал один! А как затоскует он зимой. Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень любишь свою тайну, я думаю — не надо заставить врасплох ее целомудрие и доводить ее до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю все это и не называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя — долгое, прохладное, сложное на вкус. С ним пока еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако, как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

О, еще много — четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия, как тогда, вернее — как потом, в моем детстве, в эвакуации.

Эти четыре года, между 1837 и 1841, — самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни — до ее предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно — он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде, путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — «за одну, но только полную тревог».

Итак: «Погиб поэт...»

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие — начинать счет с этого момента, с этой строки, но для меня — отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остается лишь четыре года.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, потом — зачеркнуто, зачеркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нем. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: «Не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!» Ну да. Ведь это так дополнительно ужасно: погиб, все кончено, но еще, если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку на что? На все, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

И это — отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня — это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности: господи! а ведь он еще так молод! Дальнейший его возраст — лишь неважная, житейская примета, ничего не объясняющая в завершенной, как окружность, наибольшей и вечной зрелости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскаленного неуютя, в котором пребывала его душа. В садинах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук

порезаться, как об острие. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — «И верится, и плачется, и так легко, легко». О, знаю я эту легкость: все быстрее, быстрее бег нервов, все уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и бедная эта, живая оговорка: «Но не тем глубоким сном могилы...»

И еще очень люблю я в нем небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пусть она поплачет... Ей ничего не значит». Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведенное в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнешь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звезды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И все же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха все хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь, и видел все это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зренья, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращен сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила

его — он стоит там, обласканный южным небом, но хочет вернуться. И он вернется.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города, стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то свое, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: «Что вы?» Я сказала: «Ничего». И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было все, все: они, и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная с этим, все, что знают все люди, и еще что-то, что знает лишь эта земля.

ЛЕРМОНТОВ

ИЗ АРХИВА СЕМЕЙСТВА Р.

В Москве, на Красноармейской улице, живет и благоденствует семейство Р. Старшие Р. имеют взрослых детей и многих внуков, но их добросердечие и энергия не истощены течением лет, трудами и заботами. В их скромном, радужном и несколько безалаберном доме всегда гостят друзья, а также друзья, родные и знакомые друзей, некоторые с детьми, птицами и животными. Молодожены, ожидающие новоселья, грустные гордецы, терпящие размолвку с домашними, беспечные приезжие разбивают здесь

свои непрочные шатры и черпают живое благо из огромной суповой кастрюли. Некогда сюда забрел чужестранец, перепутавший адрес. В это время учились ходить близнецы, оснащенные специальным, быстро несущимся устройством, шаталась стремянка, вбивался гвоздь, на кухне за чисткой рыбы распевала актриса, без убытка расточая древнее серебро знаменитых бледных северных глаз. Стада маленьких добрых существ ластились к коленям пришельца — он замешкался, в совершенстве овладел русским языком, а когда прощался перед отъездом на родину, из груди его вырвалось короткое неблаговоспитанное рыдание, не принятое среди его соотечественников. Ко множеству детских фотографий в доме Р. прибавились изображения двух прилежных кружевных джентльменов, напряженно скрывающих от объектива выражение неслыханного озорства, подступившего к сердцу.

Не гнушайся этими лишними сведениями, любезный читатель. Как знать, может быть, и тебе придется жить под этим кровом, если ты не читаешь эти строки, примостившись где-нибудь вблизи упомянутой кастрюли.

Озирая разноразной здешнего многолюдья, невольно испытываешь тревогу за другие города и пространства: не пришло ли им вовсе опустеть, чтобы послать сюда столько славных скитальцев?

Легко вообразить, сколько памятных вещей и непритязательных документов осталось в собрании доброго и рассеянного семейства Р. В упаковочной картонке болгарского производства хранятся бумаги, писанные одной рукой, пренебреженные заведомым выбором стиля и жанра, и несколько сторонних писем. Судя по этим записям, их безымянный автор сильно печалился по человеку, родившемуся более ста пятидесяти лет назад и жившему недолго. Сколько лет прошло, а он все печалился, любовь и досада припекали его вспыль-

чивый, недисциплинированный ум, и, несмотря на непоправимость прошедшего времени, он словно помышлял о спасении и мести. Случилось так, что я вольна распорядиться этими бумагами по моему усмотрению, и вот распоряжаясь, придав им некоторый порядок для удобства благосклонного читателя. Что же касается авторства, то в нем можно подозревать любого из многочисленных постояльцев гостеприимного дома Р. Долгое время жила там и я (вместе с моею собакой).

За милость приюта, а также за целость и сохранность картонного ящика приношу семейству Р. мою почтительную благодарность.

I

СКУКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ

Как любил он прежде встречать в серебряном стекле свое пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные усы драгоценного отлива. Глаза красиво помещены чуть навывкате в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные глаза, надобные для зренья и общей миловидности, а не для того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то он сделал следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его мож-

но только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)

Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шелковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.

Некоторые, особенно счастливые свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — все это в отчетливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, покуда судьба, рыщущая в белых сумерках, не приметила молодца для будущей важной надобности. И еще в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлолом челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но еще половина лестницы оставалась ему, и выше крайней ее ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльбрус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.

Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с кап-

ризмным дамским комфортом, но зеркало, окаймленное тяжелым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в свои пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.

Отвлечшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые куртины пялили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скучные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звездного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непрочную плоть.

Почты он не ждал и не хотел: через ее посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением принохивающегося к святые его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передернуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протеже побледнел, словно от смерти.

Третьего дня соскочил с его дороги потертый, плюгавый господничек, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкуются тьмы таких бесцельных людишек, да-

же не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из не- сильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же тарасился, разыгрывая лицом целую драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставлял физиономию и натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьезные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.

Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.

Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу приглянулся серебряной Диане, приласкал усы и за кофею с такой отдаленностью соотносился с домашними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия и подъема, но она смотрела в окно по-прежнему бесцветно и глупо, как белесая деревенская девка.

Словно побуждаемый свыше, строго прошел он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы, столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел в верху листа дорогой бумаги: «МОЯ ИСПОВЕДЬ». Далее — сбоку и мелко — «15 июля 1871 года, село Знаменское». И единым духом, без остановки: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли».

Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многие обыкновенные люди, он полагался на необыкновен-

ность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холеный почерк. И резво бежала рука.

«Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятли малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера».

Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживет вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырех лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятли подробности! Затаим бисние сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стеганным домашним шелком.

«Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен...»

О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и которому названия не знал, а это было вдохновение, взлет в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — все это было близостью его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слез. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любясь собой и тайком заговаривая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознающего предсмертие. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись, и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, еще совершенно живому, и это было настолько больше и важнее

всего, о чем он собирался писать, что чувство стало уходить и остатком его он продолжил:

«Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел».

Он добросовестно отложил перо, затуманил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантазеров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противоположенная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь наступала на него, задирала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала черт те с чем, искала в нем пустого места для жгучих неблаговоспитанных выходов. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж притворяется идиллией, а затылок подозревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была искушающе огромной и требовала неусыпной придиричливой охраны. Еще в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.

Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им «Нумидийская конница». Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облаченные в простыни и вооруженные холодной водой, врвались ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошенький юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, насупил и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в игре и не сулило пощады. Главный нуми-

диск засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была — Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов продрознил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: «...он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл».

Все их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и четко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предредила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умещался в одно мнение, рассудок не поспевал за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорбление. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него были и другие, известные ему, причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность непременным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шел к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужички, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало. Главное же было в том, что при нем Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.

От Лермонтова сквозило или пекло, что составляло целую лихорадку, и он сучал, если не на ком было ее вы-

местить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решеткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чем, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошел, следуя выносливой привязанности: Монго лежал с львиной грацией и ленью, а Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать «Мартышкой». Неснссность его крепла еще два месяца.

Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное белье. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый снурком с золотыми жемудрами на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом линий, по цыганской грамоте — неблагоприятным. Мартынов кочующими и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонью разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливость, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшейся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная легкость в танцах. Кабы не преувеличенные им до крайности, могли нравиться в нем общие для гусара отличия, в ту пору еще соблюдаемые. Так, он нисколько не щадил денег (правда, не был учен нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел

и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фатализма). И все же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.

Тут он осекся, вспомнив о докучливых ревнителях лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т. А. Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагодарного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: «Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал...» Ан, все обернулось иначе, и он взял более современный и ученый тон.

«Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека».

К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норовил ее скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским не хотел вначале серьезничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щек и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжелое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонанс-гаузе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблен сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, принижением себя, с восторгом.

Лермонтов и для шахмат искал только сильных пар-

тнеров, особенно отличая поручика Москалева (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашен и не находил их занимательными. А все же он и сам знал об этом общеизвестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова, — и по убедительной наслышке и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жены вяжут при мужской беседе, не вникая в ее смысл и пребывая в счастливой уверенности, что все это очень умно и полезно для общества, в чье умственное паренье и они сейчас вовлечены.

Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твердо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, бравых майоров (в отставке). А ведь было в нем что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел польского происхождения, толкнувший к нему бальным веером теплый воздух дурмана, заменяющий твердое «эль» заманчивым распылом голоса и взятый им в жены. Не то чтобы она стала ревновать его к флаконам, атласу и книжкам, галантно обращенным именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подергиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.

Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но, если очень умнячали при нем, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, поврежденного морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для

перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устраивали Мартынова. Тем не менее он продолжил:

«Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод...»

С наивностью, которую в нем многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поправки заставшимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты, он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещенного человека, а еще более — необоснованными наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, которой сам был не менее автора-свидетель и участник. То, что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и все же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что совпадает во мнении со своим августейшим тезкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещен и оценил ее чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь сильному монаршему чувству, из излишков

которого получилась мимолетная благосклонность к нему самому, Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству натуры имеет близкую родню в артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.

Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудреного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случилось слышать, как Лермонтов, не сдержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекло и настораживало лицо Лермонтова. И он опять начал ждать этого, сначала сострадающего, а потом веселого взора. Он не любил заставить на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении, — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидающий — взгляд. И то, что этот взгляд не успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.

Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гор-

дыне, присущей полякам вместе с редкостною белизною кожи. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюбленности, включающий в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащенному и злобному выглядыванию башмачка и перелету глаз на потолок, где, высоко вознесясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучась, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чье присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в бозе или царствующий ныне? Его же роковое знание было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова, и так до скончания ставшего безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклокоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и черному бархатному бешмету и как

бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоток и учтиво залепетала о том, о сем, далекими кругами обходя главное, а оно во все ее глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошел прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.

Вот он сидит, освещенный убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо бы держать сына, жадно притиснув его голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Еще в сороковом году она писала ему на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык...» Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, еще не освоившей лета, только что в сирени и кисее, дома, населенного барышнями, сквозняками, гос-

тами — под четким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счету. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом, окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тещей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осматривает вапильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или воображал, как Лермонтов входит к сестрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его веселому взгляду голую, вдруг озябшую спину и всевидящий край милого напряженного глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сестрах казалась ему рискованной и обреченно-беззащитной, а применительно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, предложения для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и еще хуже. Нервы Мартынова, оцетинившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождем, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлек в свою сильную предрешенную судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошел, показал бездну —

и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздраженное внимание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели, и только когда все определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.

Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристрастных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то все-таки почему осуществил ее именно он, а не, например, Лисаневич, принявший свою долю насмешек и склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веер, а Эмилия рассудительно заметила: «Язык мой — враг мой». Не в «горце» и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огромной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошеве-

лил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, еще живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.

И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманивал пулю из ствола еще со времен их юности.

«Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова».

Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:

«Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».

Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывая, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скучно становилось. Лоб, истомленный дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным заботам. Хотелось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он еще написал:

«Генерал Шлиппенбах, начальник школы...»

Это были его последние слова о Лермонтове.

II

ПИСЬМА

Первое (почерк автора записок)

Дорогой и глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Как и все Ваши верные читатели, я люблю и благодарю Ваши «Сказки времени» — за все и за «Казнь убийцы», покаравшую Мартынова долгим мучительным возмездием: появлениями убитого Лермонтова в его доме и саду, в его убывающей жизни.

Не посчитайте ослушанием или сомнением в Вашей безусловно художественной правоте мое твердое убеждение, что Лермонтов не являлся и не снился Мартынову. Мартынову и до Сальери (во всяком случае, до пушкинского) — слишком далеко, хоть он и пописывал стихи, чья бедная нескладница все же не была его страстью и манией. Значение Лермонтова задевало его только как житейское неудобство для самолюбия. Его маленькое здравомыслие не допустило бы и не узнало видения и не приняло бы от него пытку. Для подобной муки его воображение и его совесть были слишком мало развиты. Может быть, именно его неодаренность, исчерпывающая и совершенная, как одаренность Лермонтова, предопределила несчастную связь этих имен в русской истории.

Но все это известно Вам лучше, чем мне, и я попусту расточаю Ваше время. Примите мою почтительную любовь и пожелание прочного здоровья.

Второе (почерк П. Г. Антокольского)

Дорогой друг!

Жизнь Пушкинна и Лермонтова настолько невероятны, так полны множества вариантов, непредвиденных и выхо-

дящих за пределы обычного человеческого пути, что здесь не оберешься удивления, восторга, печали и всех других чувств, мешающих трезвой оценке.

Лермонтов — обжигался и обжигал других. Такая ж острота была в его героях: в Печорине, Арбенине и прежде всего — в Демоне. При всех неустанных и доскональных исследованиях, Лермонтов — одна из самых волшебных сказок, раскрытых навсегда и никогда не досказанных до конца.

Что же до его убийцы, то скажу прямо: моя сказка об его казни вообще не должна была быть написана. Никакие домыслы и вымыслы об этом пустом месте, об этой пропавшей грамоте — просто не нужны. Мартынов сгинул так же, как Дантес. Оба они случайны, как соседи в вагоне. А жизням Пушкина и Лермонтова конца не предвидится. Только это есть и будет всегда — аминь во веки веков. Нам остается радоваться их присутствию и учить радоваться всех, кто придет после нас. Насчет Мартынова можно выдумать множество концов. Но если правда, что люди или само время разорили и развеяли его прах, — это лучший и окончательный конец.

А как было бы хорошо сейчас поехать к Пушкину в Михайловское или к Лермонтову в Пятигорск, вновь найти их там и вновь искать повсюду!

Желаю лучших радостей, которых всегда вдоволь на белом свете!

П. А.

Третье (автору записок от неизвестного лица)

Эй,

вы повсюду разбрасываете ваши писания, в которых черт ногу сломит, и я кое-что прочел. Моя фамилия не Мартынов, но я слышал от бабки, что прихожусь тому Марты-

нову какой-то тридесятой родней. Мне это совершенно безразлично, но вам я с удовольствием об этом сообщаю. Не думайте, что если кто-то что-то пишет, он может хамить. Например, я бы с радостью проучил вас за «фамильную потливость», вернее, за вашу подлость, тоже, наверно, фамильную. Так что учтите.

Четвертое (ответ на предыдущее)

Милостивый государь!

Я еще раз невольно затрудняю Вас, обращаясь к Вам столь вычурным и архаическим способом, но Вы не оставили мне другой возможности, любезно сообщив о себе только то сведение, что Ваша фамилия — не Мартынов.

Не зная Вашего адреса, я вынужден с особенным усердием разбрасывать мои письма в надежде, что они снова попадутся Вам на глаза и Вы не преминете известить меня о всех условиях, угодных и удобных Вам для того, чтобы «проучить» меня или удовлетворить меня как должно.

Что касается Вашего удовлетворения, я специально ради него снесся с доверенным лицом из управления аптеки и теперь имею основание и удовольствие рекомендовать Вам польское средство «Дезодоро» как лучшее.

Засим — прощайте.

III

ТОТ ЖЕ ИЮЛЬ, НО НЕСКОЛЬКО ПО-ДРУГОМУ

В том же июле тот же неказистый господин, который соринкой залетал Мартынову в угол глаза, объявился в совершенно другом месте и пытался проникнуть в покои князя Васильчикова, куда его не пустили—и правильно сделали.

Плохой вид этого господина, не то, чтобы нетрезвый, а какой-то парящий, его платье, устаревшее до лысин и подтеков, позволили нижним лестничным чинам полюбопытствовать: какую нужду имеет он к их сиятельству? Дело свое незнакомец удержал в тайне, но не скрыл, что был обрызган грязью из-под копыт княжеского коня во время грозы тридцать лет назад. Ему тут же заметили, что за это время можно было бы пообчиститься и что та лошадь давно уже покойники и отвечать на его претензию не могут. Князю Александру Илларионовичу об этом маленьком случае не докладывали, а комнат за шесть по сквозной анфиладе от его кабинета осведомились: как быть с неопределенным просителем? Последовал ответ: ободрить деликатной наградой и отпустить с богом. Захудалый человек поупрямился и погордился, но—что было делать?—взял подаяние, заверил глупую челядь, что употребит его на помин чьей-то души, сошел с крыльца и исчез.

Тем временем Александр Илларионович Васильчиков, свежий, легкий и не поврежденный прибылью лет, задумчиво трудился при сильных настольных свечах. Острое внимание публики к трагическим делам давно минувших дней касалось и его — не так близко и больно, как Мартынова, но достаточно заметно. Среди исследователей, вернее, добровольных и запоздалых следователей, отличался тщательный П. К. Мартынов, задорно окликнувший его в статье прошлогоднего журнала. Если Мартынов прямо выводился убийцей и с него, в нравственном отношении, были взятки гладки, то на князя Васильчикова распространялась пристальная двусмысленная вопросительность. Он был не только единственный живой свидетель, но был секундант Лермонтова, то есть последняя и важнейшая опора его жизни и чести. Жизнь была упущена беззаботно и сразу, после чего он принялся с большим достоинством оберегать

честь Мартынова — как свою. Поединку сопутствовала известная неопределенность и темнота обстоятельств. Не в том было дело, что участие в нем Столыпина и Трубецкого — из разумных и благородных соображений — было скрыто от официального следствия, а в том, что участия никакого не было, кроме беспечного присутствия. Оставшиеся Васильчиков и Глебов в точности не проследили распределения своих ролей и обязанностей, сведя их к отмериванию тридцати шагов. По дуэльному кодексу секундант не должен был и не имел права заслонить собою уполномочившее его лицо, но предполагалось, что в нем достанет для этого невозможного жеста пристрастия и заинтересованности. Так что Лермонтов, окруженный друзьями, один из которых в него целился, у подножия Машука, как и всегда, был один-одинешенек.

Но в чем мог винить себя князь Васильчиков, кроме крайней молодости и проистекавшей из нее неосмотрительности всех участников, — ему самому шел тогда двадцать второй год? Он устаивал своих критиков не исповеди — исповедоваться не в исповедальне было то же самое, что ходить нагим не в бане, — а внятного, делового и спокойного ответа. Тому же всегда он учил Мартынова, да не очень на него полагался. Он не ожидал, конечно, что все упрется в генерала Шлиппенбаха — что такое Шлиппенбах и причем тут Шлиппенбах? — но и на что-нибудь совсем другое рассчитывать не приходилось.

Он писал быстро, толково, хорошо. Невинность Мартынова и его самого просто и ясно доказывалась все тем же несчастным характером, сопутствующим гению. Он тоже перечислял шалости, проделки и несносности, опуская те, от которых сам хлебнул горяшка, вплоть до последней дерзости, стоившей Лермонтову жизни. Он выразил было сомнение в справедливости столь высокой цены, но, сдержива-

емый безупречной корректностью, зачеркнул эти слова. Картины общества и природы равно удались его перу. Осторожно и отважно упомянул он ту, опасную для Лермонтова немилость, которую только с большим преувеличением можно было назвать опалой небес. Сдержанный и независимый тон заметок соответствовал просвещенному уму и превосходной подтянутости духа. Смерть Лермонтова выглядела его собственным поступком, и возможные уточнения предоставлялись Мартынову. Так что в результате получался все тот же Шлиппенбах.

А невзрачный незнакомец давно уже сидел в трактире, одной рукой наливал себе угощения, а другой удерживал от падения свою никому не нужную голову. Иногда он встряхивался, взгляд его взмывал, руки освобождались для большого жеста, и на губах закипала невнятная гордая речь. Так что баба, выпущенная из грязных кулис для вытирания столов, оглядывалась на него с сомнением, пока не рассудила, что это, видно, актеришка бедный, выведенный из ума нуждой и вином. Но вокруг и другие театры разыгрывались — со слезами, пением и сильным вклеиванием губ в чужое, вдруг полюбившееся лицо.

Между тем наш плохонький человек говорил:

— Я, князь, не беседы с вами искал. Я искал пить с вами вдвоем и напиться, как свинья и свинья. Вы теперь один мне ровня. На нас с вами одна кровь. Вы соучастник ее пролития и я. Только вы и тогда были трезвы, а я пьян. Я действовал по службе, а вы—по дружбе. Я сам обрек мою душу бессрочной каторге, сто лет пройдет, а не кончится ее срок. Вы же теперь пишете, и я отсюда могу читать описание ваших миролюбивых усилий. Полноте, князь. Не в том ваша вина, что вы не слишком благоволили к вашему приятелю и не пеклись о его невредимости—насильно мил не будешь. А в том, что на этом основании вы не могли

сказываться его секундантом, тем более что поначалу господин Глебов взял на себя эту роль. Э, да что теперь говорить. Единожды солгавши... вы, князь, и сами знаете.

Тут он занял уста питьем и умолк. Потом стал заглядывать себе за пазуху, в душную тьму, где таился и стесненно поблескивал маленький драгоценный предмет, посмеиваться на этот предмет и приговаривать:

— Ай да мадмуазель Быховец, ай да Катя! Одна только и осадила убийцу! Мартынка, говорит, глупый... ха-ха... ужасно, говорит, глупый Мартынка!

Но смех скоро сошел с его лица, он сидел неподвижно и молча, пока тоска и уныние не увеличились в нем до страсти и не вознесли его над нечистым столом для последнего монолога:

— Алексей Аркадьевич Столыпин, более известный как Монго! Целое общество равнялось на вашу доблестную высокородную осанку, и ни в ком другом не видел я такой вельможной и вместе добродушной стати. Про вас говорили, что вы образец красоты и порядочности для своего времени, и многие женщины оплакали вашу кончину под флорентийским небом. А я говорю вам, что в вас было ровно столько души и ума, сколько нужно для великолепного лоску. Что вы сквозь лениво разомкнутые пальцы пропустили, как ненужную воду, жизнь вашего родственника и друга. Что я из моего ничтожества смею взывать к вашему и что я презираю вас!

Устрашив и унизив таким образом благородную тень, обеспокоенную ради этого вздора, обличитель пал духом и разрыдался, укрывая лицо и некрасиво дергая плечами:

— Я и сам, по мере сил моих, созидал вашу гибель, но знать это вам не так было бы обидно, как слова мои о вашем товарище, — уж вы, снизойдя к моей муке, разом за все простите меня, Михаил Юрьевич, голубчик...

Эти самонадеянные и скорбные слова также остались без всякого внимания, потому что в такие места люди ходят для своих горестей, а не для чужих. А порядочные люди и вовсе не ходят, используя благодатные вечерние часы для составления важных заметок или чтения книг, пока музыка вылетает в окна нижнего этажа и придает сумеркам сада особенную красоту и печаль.

IV

Письмо пятое (автору записок от еще одного неожиданного корреспондента)

...!

Не зная вашего имени и не сожалея об этом, довожу до вашего сведения, что моя фамилия, искаженная давнишней писарской ошибкой, все-таки, сколько я знаю, указывает на мою принадлежность роду Васильчиковых. Но мое возмущение вашими домыслами носит не семейный, а объективный характер. Хочу напомнить вам, что Александр Илларионович Васильчиков, которого вы, злоупотребляя своей безнаказанностью, опутали недостойными намеками, был известный публицист, прогрессивный деятель, хлопотавший о нуждах земледельцев и даже привлеченный к подготовке реформы 1861 года. Не сомневаюсь, что, несмотря на молодость и неопытность, а также на неуместные вольности и эпиграммы в его адрес, он был искренний и терпеливый доброжелатель Лермонтова и во время его дуэли честно соблюдал должные правила. Он тяжело переживал его гибель, что подтверждает его письмо к приятелю, приведенное в сборнике воспоминаний, который вы, как я вижу, изучили тщательно, но без пользы. Так или иначе, у вас нет улик против Васильчикова и других участников события, и вы вынуждены заменять их недомолвками, рав-

ными клевете, достойной наказания. Жена моя особенно оскорблена за А. А. Столыпина, ближайшего друга Лермонтова, первого переводчика на французский язык «Героя нашего времени» и безукоризненного, на ее взгляд, человека.

Подтверждаю мое возмущение.

А. Весельчаков.

Шестое (ответ)

Досточтимый и любезный А. Весельчаков!

Не умея отгадать, какому случаю обязан я Вашей осведомленностью в моих записках, прогневивших Вас, я должен на него же рассчитывать, чтобы несколько Вас успокоить.

Не слишком терзайте себя тяжкими переживаниями Вашего предполагаемого прародственника. В известном Вам письме, сразу за словами о Лермонтове: «Жаль его!» и прочими, следует грустное, но спокойное описание водяного общества, стекол, вставленных в окна гостиницы, и вечерней музыки. Это оставляет нам надежду, что за две недели, прошедшие после поединка, автор письма успел совладать со скорбью о понесенной утрате. В этом же документе А. И. Васильчиков объявляет себя секундантом Лермонтова, но, когда спустя много лет Висковатов попробует уточнить это обстоятельство, он даст ему уклончивый и невразумительный ответ: он не знал, интересы какой стороны ему вверены, и не мог оберегать их. Если у Вас есть на этот счет сведения, противоположные моим, я с облегчением принесу Вам мои извинения. Пока я вынужден называть роль князя Васильчикова в судьбе Лермонтова неблагоприятной. Восхищаясь широтой, с которой Вы считаете Вашего подзащитного однофамильцем и родней, я готов незамедлительно ответить за мои слова, оскорби-

тельные для Вашего семейства. Чтобы Вас не стесняло превосходство Вашей генеалогии, напоминая Вам, что в старину татар-старьевщиков величали «князьями», а я имею в их почтенной среде предка, чья фамилия перешла ко мне без изменений.

Совет: несмотря на его смерть в Италии в 1858 году, бдительно остерегайтесь А. А. Столыпина (Монго). Пристрастие к нему Вашей жены уверяет меня в ее недовольстве Вашими внешностью и манерами. В отличие от своего двоюродного племянника, он может иметь живые копии и повторения и стать Вашим соперником.

Всегда к Вашим услугам.

Седьмое (автору записок от незнакомой дамы)

Не ждите ответа от моего мужа — он солидный и уравновешенный человек. Повидайтесь лучше со мной! Ваше высокопарное хамство мне симпатично. Так и быть, уступаю Вам ни в чем не повинного красавца и соглашаюсь говорить о Лермонтове. Я — по образованию — психолог, и психология творчества представляет для меня особый интерес.

Итак — жду Вас и не скрываю нетерпения.

А. Весельчакова.

(На письме, видимо, оставленном без ответа, — приписка адресата:

Когда, меня избравши наобум,
ты ждешь меня, прелестница психолог,
я не страшусь, что короток твой ум,
но трепещу, что волос твой не долог.
Я не ищу учености очей!
Хоть в том не велика моя заслуга,
я, психикой и логикой моей,
спасаю честь беспечного супруга.)

V

КАВКАЗ, НАШИ ДНИ (Продолжение записок)

Опоздав на сто тридцать один год, бродил я по Пятигорску и всюду видел только то, что опоздал непоправимо. Воздух маленького белого домика был неодошевленный и совершенно пустой — душа придирчиво его обыскала и отвергла как явную подмену, а на что, собственно, она надеялась? Я сразу ушел, хотя в саду трогательный запах цветущих растений ласкался и цеплялся к лицу, словно обещал, что не все еще потеряно и где-то в его сложной сумме таится искомое дыхание. Но у меня было ощущение, что я мчался к кому-то сломя голову, а его не оказалось на месте, и потому к самому месту я сделался несправедлив и слеп. С тоскою уставился я на Машук, увенчанную телевизионной башней, распространявшей вокруг незримое марево дневных новостей.

Возле обелиска на месте дуэли теснилось множество людей, и твердый женский голос уже подошел к вечеру тринадцатого июля в доме Верзилиных. Я торопливо отступил к павильону, где, не уstraшенная величием смерти, длилась живая, насущная жизнь, поглощающая чебуреки и вешелое едкое вино. Неподалеку от меня поместились два человека, чье знакомство казалось недавним и неблагополучным. Первый — большой, распахнутый, с мелким угрюмым исподлобьем и ленивыми мышцами на сильных белых руках — опекал и угощал второго — хрупкого, деликатного, может быть, кандидата наук, очень подавленного непрошеным покровительством. Глава их маленькой компании загрызал сыроватое тесто и пил портвейн. Милость его к со-

беседнику росла, и тот робел, давился, но кротко внимал благодушным наставлениям.

— Ты держись меня, не то свихнешься от скуки. Я тут седьмой год отдыхаю. Я все эти байки про Лермонтова не хуже доцентов знаю. Была тут одна экскурсоводка приятной наружности, так я притиснул ее в аллее для культурной беседы — плакала, а призналась, что все это из-за бабы произошло. Писал-то он хорошо, да выглядел плохо: ноги кривые, лицо желтое (наука это, конечно, скрывает). А этот, который его потом убил, был видный, приметный мужчина, вот он и перебежал ему дорогу.

С этого момента его речи в меня стала поступать какая-то замечательная легкость, словно я спал и собирался лететь. Верзила рассуждал, а две боязливые, с бледной шерстью собаки из осторожного отдаления смотрели на забытый им чебурек, истекающий масляной жижей. Вдруг он обернулся и неожиданно резвым и точным жестом ткнул в собачью морду окурком — обе собаки отпрянули и скрылись. Дальнейшие мои действия совершались помимо меня, как если бы они были не поступком, а припадком, но размеренно и даже плавно. Я подошел, заботливо взял в одну руку скользкий расстегнутый ворот, в другую — раскаленный остаток сигареты и стал медленно приближать его к растерянному, неподвижному лицу. Я не знал, чего я хочу, но я бы ужаснулся, если бы понял, чего я тогда не хотел: я не хотел, чтобы он топтал эту гору, жрал воздух, чтобы девушка, знающая наизусть столько стихов, плакала от ужаса в аллее, чтобы собаки, рожденные для доверия и любви, шарахались в сторону при виде человека, — я не хотел, чтобы он жил. Мне казалось, что все будет хорошо, стоит только свести воедино его лицо и окурок, но в это время кто-то повис у меня на руке, и все участники сцены словно проснулись. Первое, что я услышал, были слова му-

жа Веры. «Благородный молодой человек!» — с ними обратился ко мне тот, кто до сих пор удерживал мою руку с тлеющим табаком. Вид его поразил меня. Он был очень бледен, не бел, а прозрачен, как засушенный лепесток, зрачки казались чуть гуще воды, как талый снег, волосы слабы, как у новорожденного, ветхие плечи и ноги облачены во фрак и панталоны расхожего покроя начала прошлого века, в свободной от меня слабой руке колыхался антикварный цилиндр. Пока я озираю его причудливую и бедственную внешность, те двое исчезли, я даже не успел обдумать, почему я, вплотную приблизившись к целостности и сохранности одного из них, не встретил никакого сопротивления.

Не зная, чему приписать странность моего усмирителя: цветению местной самодеятельности или беде одинокой нездоровой души, — я тихонько отнял у него мою руку и неловко спросил:

— Может быть, вы не откажетесь съесть что-нибудь? Или выпить?

Жидкость в его глазах увеличилась и чуть не перелилась через край. Он отвечал мне с большим чувством и со странным, смущающим разум акцентом — несомненно русским и в то же время никогда мной не слышанным:

— Если бы вы знали, кто и когда обращался ко мне в последний раз с таким же любезным предложением! Нет, вы не то подумали, — я не имею нужды в еде. Просто тот случай был для меня драгоценный и даже переменявший всю жизнь мою, но пока я не решаюсь вам признаться.

Я испытывал при нем безвыходную тревогу, как будто должен был вспомнить что-то, чего не знал. Мы попрощались, и мне было заметно, что он долго и пристально смотрит мне в спину.

Лермонтов примечал, что среди извозчиков много осетин. Много их и среди таксистов. Мой был упрямейший из них и согласился везти меня после долгих и мрачных пререканий. Я хотел проведать Хромого Хусейна и к ночи вернуться обратно. Хромой Хусейн был мой друг, мой кунак и даже мой брат. Мы познакомились в Москве, где он постоянно волновался и ликовал, как на празднике. Он шел с банкета, с радостью вина и дружбы в душе, и я шел себе по улице, — он оглядел меня с пылкой симпатией и спросил: не казах ли я? Я отвечал, что нет, но он с этого места улицы стал дружить со мной и все-таки считать меня казахом. В детстве Хусейн (хромым он стал потом, после того, как упал вместе с лошадыю) жил в Казахстане. Его отец сражался на фронте, а мать болела и не умела жить вдали от родины. Так что Хусейн с матерью стали совсем погибать, но казахи поделились с ними всем, что имели, и спасли их для долгой жизни, для встречи с отцом, для родных гор. Поэтому Хусейн так сильно и верно любил казахов. Мы не расставались несколько дней, и я любовался его изящной худобой, скучающей по коню, вспышками добрых глаз и неукротимой страстью к дарению. Между прочим, Хусейн особенным образом относился к Лермонтову и, наверное, в глубине души считал его отчасти казахом. Он с живостью одобрял его храбрость, способность к верховой езде и — это во-первых! — расположение к народам Кавказа, которые Лермонтов, как и все русские в то время, не точно отличал один от другого и часто смешивал кабардинскую и «татарскую», то есть тюркскую, балкарскую речь. Однажды Хусейн сказал мне:

— Ты не рассердишься, если я в чем-то признаюсь? Я рад, что Лермонтова убил русский. Не тому рад, что именно русский, а тому, что не наши его убили. Ведь царь на это надеялся. Если бы его убил горец, я не знаю, как бы я

жил. Тогда война была, а в моем роду никто ни разу не промахнулся.

Вообще Хусейн глядел на Лермонтова не издалека, а из доверительной и задушевной близости. Он даже начертил мне план пространства, где носился и мыкался Демон, и получалось, что, направляясь в сторону Грузии и Тамары, Дух изгнания неминуемо пролетал над родным аулом Хусейна.

Но не везло мне в этой поездке! Хромого Хусейна я тоже не застал, он теперь работал на далекой туристической базе, и старые его родители уехали к нему на субботу и воскресенье. Все это сообщили мне его родственники. В первом ряду их собрания стояли зрелые и осанистые мужчины: Ишай, Даньял, Ахья и Сафарби. Во втором — юноши, все с красивыми и доверчивыми лицами. За ними, вдалеке, разместились женщины и малолетние. Говорил только Ишай — по-видимому, старший. Он же спросил меня: не казах ли я, — и мне жаль было сказать: нет. Вдруг все они пришли в волнение, те, кто курил, бросили и пригасили сигареты, стало совсем тихо, только Ишай успел шепнуть мне: Аубекир! Вот так Аубекир, подумал я, сразу же разделив общую робость и заведомое послушание. Аубекир был старый человек в крестьянской одежде, с лицом паразитической силы и гордости. Все это лицо, тяжелое и золотое при солнце, было один спокойный и достойный ум, окрепший в трудах и тяжелых испытаниях до совершенства, до знания истины. В этом лице и в этом уме не было места для пустого и тщетного движения. Он глядел просто и приветливо, но я был подавлен и стыдился всего, что знал о себе. Вдруг его лицо ослабело, расплавилось, растеклось, и я остолбенел от этой перемены, которая объяснялась тем, что, безбоязненно раздвигая старших родственников, вперед выдвигался мальчик, едва умеющий ходить,

с крепким голым животом и круглыми черными кудрями. Аубекир схватил его и жадно понес к глазам, и такая мощь нежности выразилась в его лице, которой достало бы целому многоопытному народу для раздумья о своей неистребимости, о прибывающей жизни, уходящей далеко за горизонт будущего времени. Аубекир вскоре ушел. Мне объяснили, что меня повезут в горы, чтобы отпраздновать мое прибытие. Это будет как бы благодарственный пир — «курмалык» — в честь того, что несчастье нашей разлуки кончилось. Аубекир ушел раньше, потому что не любит ездить в автомобиле, хотя у него есть «Жигули», — на этой машине отправимся мы, Даньял за рулем. Еще на равнине мы обогнали всадника, Даньял вежливо притормозил — тот слегка кивнул, позволил ехать дальше. Солнце, уже близкое к горам, отражалось в его лице, в смуглой шерсти коня. Аубекир прямо смотрел на солнце, на блеск снежных вершин.

Уже горы теснили дорогу. Чтобы увидеть деревце на краю обрыва, надо было откинуть затылок на спину. Я не видывал такой высоты. Лермонтов не мог быть здесь — в то время эти места были закрыты для пришельцев, и предки моих спутников зорко смотрели за этим.

Все это сделалось очень быстро. У реки, принимающей в себя отвесный водопад, расстелили на земле скатерть, развели огонь. Всем ведал Ишай. Если он был недоволен помощью, он мимоходом шлепал любого, и Даньял, сильнейший в их роду, по-детски прикрывался от него руками. Над шумом воды и огня главенствовал особенный звук тишины. При горах душа нечаянно подтягивалась, как при Аубекире. Аубекир приехал к концу пира. К нему почтительно придвинули баранью голову и наполненный стакан. Он ласково кивал головой на заздравные тосты, но ничего не пил. Я шепотом спросил: почему? Ишай ответил:

— Аубекир никогда не пил. Он видел много горя. Две войны, чужбина, смерть близких и смерть маленького сына — чтобы пережить это, надо иметь много силы и много работать. Глаза его всегда трезвые и сухие. Только две слезы побывали в них — когда увидел горы после долгой разлуки.

Остальные мужчины пили весело, но без развязности и суматохи, как и подобает здоровым, сильным и добрым людям. Единственный среди них городской житель—Ахья— был слабее других. Они ни о чем не спрашивали меня, но смотрели с любовью и поощрением. И я быстро и крепко их полюбил, хотя обычно схожусь с людьми не просто и не близко. Я подумал, что Лермонтову было бы ловко и хорошо с ними. Вот бы он удивился, узнав от них, что Бэла — скорее балкарка, чем черкешенка, а все остальное: ее красота, тоска, любовь и гибель — совершенная правда, происходившая неподалеку. И великий Карагез был балкарским конем, потому что по-балкарски его имя означает: «Черные глаза». У кабардинцев и черкесов другой, не тюркский, язык. Русские тогда относили балкарцев к татарам, а сами они называют себя «таулу», потому что «тау» — гора — стоит в заглавии их жизни.

В начале ночи я уже был возле Машука и смотрел на землю, когда-то принявшую кровь, текущую из сердца сквозь малиновую канаусовую рубашку. Вдруг прямо возле уха услышал я вкрадчивый голос:

— Михаил Юрьевич лежал не здесь. Упал он вон в том месте, а уж потом был перенесен вон туда—пожалуйста за мной, я вас сопровожу.

В темноте робко мерцал мой дневной знакомец. Он увлекал меня в сторону и второпях говорил:

— Я тоже имел несчастье несколько опоздать — впоследствии я не скрою от вас причины. Но кровь на тропинке застал я еще не остывшей.

— Да вам сколько лет? — спросил я с раздражением.

Он объяснил, что родился в девяносто шестом году, и я похвалил его молодость. Он заметно обрадовался и выпалил, даже подпрыгнув от молодого кокетства:

— Да вы не дослушали! В девяносто шестом году осьмнадцатого столетия — вот когда я родился в благо-родной семье и был крещен. Но имя мое в дальнейшем сам я оконфузил и осрамил и, отстранившись от своего рода, стал зваться иначе. Сказать ли вам—как? Да не будете ли смеяться?

— Скажите, — тупо ответил я. — Какой уж тут смех.

Он поклонился:

— Аспид Нетович Аплошкин. Вас я давно имею честь знать и даже способствовал вашей переписке с известными лицами. У меня и теперь есть письмо к вам от госпожи Вельсчаковой, содержащее в себе приглашение к дружбе.

— В таком случае благоволите передать ей на словах, что я на дружбу не расточителен и ничем служить ей не могу. — Я уже освоился с неожиданным перепадом времени и был спокоен.

А почему бы и нет? Мартынов стоял вот здесь, выстрелил и не промахнулся. Но, если Лермонтова несколько и нигде нет, к чему вся эта история? Зачем сидел я по вечерам при свече, не допуская других гостей, и утром пес дыбил шерсть и махал хвостом на узкий след гусарского сапога? Зачем чудесный тамбовский житель Николай Алексеевич Никифоров писал письмо, в котором живмя-живехоньки и ненаглядно-румяная казначейша, высватанная в селе Рассказово, и сухопарый казначей, и даже купец Воротилин, сдававший ему дом, — «приземистый, скорее — широкий, плоский, чем толстый, с бабьим голосом»? Зачем Федор Дмитриевич Поленов в Поленове, художник Васильев, архитектор Кудрявцев, инженер Миндлин, разделяя

мою заботу, рылись в архивах и книгах для цели, о которой пока не время говорить, и ни разу не усомнились в настоящем и близком присутствии Лермонтова? И если у Гейченко в Михайловском нет Пушкина, то что же тогда есть на белом свете?

Так-то оно так, а не послушать ли нам господина Аплошкина, старейшего среди нас?

— Я рано остался сиротой, учился на казенный счет, служил, бедствовал, а в 1840 году, по наущению темных сил, проиграл в карты не свои деньги. Меня простили, но побудили к посильной службе отечеству важного и тайного свойства. Обязанности мои были незначительные и вознаграждение скудное. В конце мая 1841 года получил я наставление следовать в город Пятигорск для бдительной и неприметной опеки над господином Лермонтовым, который временно уклонился от назначения в Тенгинский полк, якобы по нездоровью. По прибытии я тщательно проверил медицинские свидетельства и другие документы, касающиеся остановки господ Лермонтова и Столыпина для лечения... Номера этих бумаг, оказавшихся в порядке, были: 360, 361, 805, 806.

Тут я его перебил:

— Простите, а прежде — видели вы Пушкина?

Рассказчик сокрушено потупился:

— Хотел бы солгать, да не могу — нет, не видел. Я при его жизни служил по другому ведомству. А вот супругу его, уже вдовою, видел выходящую из кареты. Она была женщина большой и трогательной красоты.

— Замечательная новость! — съязвил я. Я уже начал капризничать, и Аплошкин обиделся:

— Я вижу, вам мало того, что я более месяца был неотлучною тенью Михаила Юрьевича Лермонтова, великого поэта, украсившего собою русскую словесность!

— Ну-ну, я виноват, — торопливо поправился я, — продолжайте, сделайте милость. Только как же преуспели вы в вашей неотлучности? Я полагаю, что в дома Чилиева или Верзилиных вы не были вхожи?

Он всполошился:

— А лето? А открытые окна? А соблазны природы? А Елисаветинский источник, доступный всем страждущим? Да и внешность моя тогда не как теперь — не навлекала на себя внимания. Впрочем, после одного случая господин Лермонтов стал меня отличать и заботливо кланяться со мной, чем не однажды удивлял своих товарищей и спутников. Началось это с того, что я проследовал за ним в ресторацию, в ту пору пустую, поместился вдалеке и спросил себе какую-то малость. Господин Лермонтов от услуг отмахнулся и сидел, грустно и открыто глядя перед собой, опершись подбородком о сплетенные пальцы, руки у него были белей и нежней лица. Вдруг он быстро подошел ко мне, и я встал. Тут сразу прошу прощения у него и у вас, что передаю речь его моими неумелыми и нескладными устами, слова его только приблизительно были такие: «Милостивый государь, я очень виноват, что беспокою вас в вашем уединении, но, может быть, вы окажете мне честь и позавтракаете вместе со мной? Вы меня очень обяжете, если не обидитесь моим дерзким приглашением». Я не нашелся с ответом и в крайнем смущении последовал к его столу — он шел сзади, не давая мне отступить. В большом возбуждении стал он заказывать вина и закуски, поминутно взглядывая на меня с лаской и вопросом: как мне угодить? — и хмурясь от смущения. Ему очень хотелось, чтобы я ел, да мне кусок не шел в горло, даже вино не лилось, хотя я уже не умел обходиться без помощи обманной влаги. Он участливо спросил: нет ли у меня какого горя? — и пожелал мне долгой жизни, прибавив: «Да я вижу: вы бу-

дете долго жить». В этом он, как видите, не ошибся. Потом, отряхнувшись от раздумья, заметил (опять я перевру его слова): «А хорошо бы долго жить. Ведь, как ни спеши, раньше времени ум не образуется. Говорят, человеческая мысль проясняется в зрелые лета, — а где их взять?» Тут его окликнули из дверей, он поднялся и проговорил быстро-быстро: «Не потому, что вы имеете нужду в деньгах, а потому, что они для меня лишние, — освободите меня!» Сделал по-своему и убежал, как мальчик. Деньги эти я вернул ему через его человека Андрея Соколова, а одну купюру оставил и ни в одной беде не расточил. (Он достал николаевскую ассигнацию, но в руки мне не дал, полюбился и спрятал.) Видимо, я очень жалок показался ему, да я таков и был. После матери моей господин Лермонтов был единственный человек, сожалевший обо мне. А ведь я был его вредитель! Следуя указаниям, поступавшим ко мне через других лиц, я, завидев на улице Мартынова, крикнул ему французские слова о нем Лермонтова, хорошо известные еще в начале лета. А уж те мои соратники, которые много превосходили меня рангом, попеняли Мартынову на вялость его чести—вот-де прохожие и те величают вас горцем с кинжалом. Подступали они к Лисаневичу, да он не годился в убийцы. Но я уже стал задумываться, тосковать и искать стихотворений Лермонтова, хотя самый талант его был не по моей части — этим занимались люди более сведущие. И скажу вам, что стихотворения эти ранили меня, зачем это было так важно и просто? И как случилось, что эта сокровенная печаль не отвергла меня, не гнала в чужаки и изгой, а была совершенно мне понятна, как если бы я сам был человек и высокий страдалец, а не мелкая подслеповатая сошка? С тех пор стал я манкировать моим долгом и в службе моей явились пробелы. Так, однажды, я услышал, как Столыпин невзначай посе-

товал Лермонтову на Мартынова: «Опять наш Николай сморозил глупость». А тот ему: «Ты о каком Николае? Оба—наши, и оба умом не горазды, что с них взять!» «Я об этой беседе в докладе не упомянул. Да ведь не один я ходил под окнами! Так что оба заинтересованных лица были извещены о сделанной им характеристике. Начиная с конца июня, я твердо ждал беды. Еще раз случилось мне говорить с Михаилом Юрьевичем в галерее. Опять он был ласков и застенчив ко мне и осведомился: идут ли мне на пользу целебные воды? Вместо ответа я взмолился: «Уезжайте вы отсюда подобру-поздорову, не медлите!» Он улыбнулся и спросил: «Куда?» Вечером тринадцатого июля я наперед знал все, что будет. Весь следующий день метался я между Пятигорском и Железноводском, схватил на бульваре руку князя Васильчикова, он брезгливо отдернулся и не стал меня слушать. Бросился к Монго—он мне заметил, что дело это до меня не может касаться никоим образом. Пятнадцатого утром положил я быть на месте дуэли, пасть в ноги Мартынову или, что вернее, выскочить из кустов и сорвать ему выстрел—пусть лучше он меня порешит. Я восторженно приготовился к смерти и исповедался у отца Павла, служившего потом панихиду по Лермонтову с большой неохотой. Волнение изнуряло мои силы, и я прибег к услугам вина в армянской лавке. Я пил и вырастал над собой, над прежней никчемной жизнью. Только проснулся я уже от грозы и пешком бросился к Машуку. По дороге я встретил князя Васильчикова—конь его поднял на меня воду и грязь. Я понял: все кончено! Далее я вполне предался вину, на служебные призывы не отвечал, пока на меня не махнули рукой и не забыли навсегда. Успел я еще сделать маленькую покражу. Михаил Юрьевич во время поединка имел при себе золотой обруч с головы молоденькой госпожи Быховец, оброненный ею в тот день и присвоен-

ный им для шутки. После уже господин Дмитриевский взял этот предмет для передачи владелице, а я его выкрал и храню. Год еще болтался я в Пятигорске, пьянствуя и дразня бывших моих сподвижников. Когда прах господина Лермонтова повезли в Тарханы, я двинулся вслед. Там видел я, как вели под руки в церковь бабушку его Елизавету Алексеевну, и не приведи бог кому-нибудь видеть такое лицо. Оно было хуже и непробудней мертвых лиц, потому что те помечены отдыхом, а ее убили, но не дали забвения, и вот влекли под локти. Приметив меня, она оттолкнула поддержку и твердо спросила: «Кто ты таков?» Я молчал, но она вызнала сквозь мое лицо мою вину и прокляла меня на веки вечные — я склонился, как под благословение. С той поры нарек я себя Аспидом и повадился являться Мартынову, да это был тщетный труд.

Я еще раз прервал речь симпатичного мученика:

— А зачем вы при его бракосочетании озорничали?

Он испугался меня:

— Откуда вы знаете?

Я усмехнулся. Он подумал и развеселился воспоминанием:

— Я имел цель смутить его и погубить, заживо спалить взглядом. Но добился лишь того, что он и от аналоя воротил ко мне голову и растратил на меня глупые глаза свои. В жене его было больше живости. Она меня потом выглядела и хотела приваждать деньгами, но мартыновской милостыни никогда я не брал. Все спрашивала о Лермонтове, и я уверил ее, что он был прекрасен собой — для меня он таков и был. Она мне покаялась, что ужасная слава ее суженого была ей лестной. Потом она к нему остыла и говаривала: «Да точно ли он совершил столь великое злодеяние? Какой он убийца?! Разве такой, что от него мухи мрут». Ей невдомек было, что так оно и водится на свете.

Я ей про ее мужа много делал плохих намеков — надеюсь, не без удачи. А потом, что же, умирали люди на белом свете, рождались, а моей скорбной юдоли нет конца. Я уж совсем устал и соскучился, теперь вот развлекаюсь вашими трудами и путешествиями.

Я поблагодарил его. Солнце уже освещало высокий снег. Вдали с утренней силой заржал и пронесся конь. Всадник был коренаст, а держался в седле ловко и крепко.

Вот пока и все о кавказских приключениях и бессмертном господине Аплошкине.

VI

ПРИВЕТ ФРАНЦУЗАМ!

Когда самолет уже задрожал и напрягся для подъема, я увидел, что по полю хромает Хусейн и сильно машет рукой. Да уж нечего было делать!

В самолете со мною соседствовал француз, посетивший Пятигорск для служебной надобности, а именно для изучения знаменитой минеральной воды. Ее превосходные свойства поразили его не менее, чем неукротенный избыток, образующий возле Эльбруса целые потоки и заводы. Заинтересовался он и Лермонтовым и всенародным паломничеством к месту его жизни и смерти. Но у него были некоторые недоумения. Он с обидой спросил меня, зачем русские иногда говорят, что в Пушкина по крайней мере целила французская рука, а с Лермонтовым было ужасней, потому что его убил соотечественник. Нужно ли тут примешивать Францию? Я его совершенно успокоил на этот счет, сказав, что по языку, духу и всему устройству Мартынов приходился Лермонтову таким же глухонемым чужеземцем, как Дантес Пушкину, и национальность тут ничего не

значит. Ростопчина писала прекраснейшему французу Дюма: «Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку». И это пустяки, они ближе, чем однополчане, они — одно. Он осторожно намекнул, что русские, как ему кажется, склонны несколько преувеличивать всемирное значение своих поэтов — ведь непередаваемая прелесть их созвучий замкнута в их языке (Толстой и Достоевский, сказал он, — это другое дело). А вот он слышал, как один человек назвал Лермонтова: «Высочайший юноша вселенной», — не слишком ли это? И не кажется ли мне, что, например, Гюго больше повлиял на общечеловеческую культуру, хотя бы потому, что французский язык не был закрыт для всех читающих людей прошлого века? Я выразил, что трудно высчитать степень влияния, ведь Толстой и Достоевский зависели же от Пушкина и Лермонтова. Я выразил ему мое восхищение Гюго и воспитавшим его народом и передал самый сердечный привет всем французам без исключения. Потом добавил:

— Мне остается еще та утешительная радость, что ни про одного великого русского поэта никто никогда не может сказать, что он был скареден, или хитроумен, или непременно хотел в академики.

Француз с легкостью согласился:

— О, да, русские вообще очень беспечны к материальной жизни. Надеюсь, вас не обидит мое предположение, что скромность вашей заработной платы несколько не влияет на ваше поведение?

Он был прав.

Так что обе стороны были вполне удовлетворены приятной беседой.

VII

ПИСЬМА, ВЕРНЕЕ, ПИСЬМО ВОСЬМОЕ (автор записок — художнику Васильеву)

Милый и дорогой друг!

Благодарю Вас за то, что Вы приняли в моей печали такое живое участие и подвигли к тому же других добрых и ученых людей. Во всем этом я узнаю Ваши талант, свободную изобретательность ума и великодушие.

Я всем сердцем оценил описание усадьбы в бывшей Тульской губернии, сада и дома над Окой. Для меня драгоценны сведения о медальоне с портретом Лермонтова, раздавленном каблуком, — чьим? Мстительным женским? Ревнивым мужским?

Мы к этому еще вернемся. Пока примите в дар стихотворение, вырытое из моих бумаг.

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнемте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!
сокрывшего — и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего события.
Ау, любезный друг! Идете ли? — Иду. —
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,
храни его господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

VIII

ВЕЛИКАЯ БАБУШКА

Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, пензенская помещица, влиятельная и властная барыня, брившая для поучения бороды крепостных, не доверявшая книжникам, говорившая про Пушкина, что он добром не кончит, несчастливая в замужестве, схоронившая молодую дочь, лелеявшая единственного внука. Жития ее было семьдесят два года (1773 — 1845). Вот и все.

Да славится ее имя во веки веков!

Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ему отец, уже не могла дать мать, еще не могли дать грядущие поколения, в которой отказали ему множество знакомых и современников. Одна — против вздорных, слепых, надменных, ленивых, алчных, желающих истребить и ист-

ребивших, каждый день, каждое мгновение, всей жизнью, не имеющей значения и цены без него.

И Лермонтов был любим, как только может быть любим человек.

Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом, — не больше той, одной, бабушкиной.

Мы всегда будем его видеть таким, каким она его видела: осененным божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым.

IX

ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ, ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН

Никакого литературоведения—я ему не учен, это дело не мое, а только зачем Вяземский жаловался, что навряд ли Лермонтов заменит России Пушкина? Замена тут вовсе ни при чем.

Пушкин еще был жив, а уже было понятно, что в России есть еще один великий поэт.

Появился Лермонтов — его молодости оставалось четыре года для достижения зрелости и совершенства. История не спрашивает у человека: сколько ему лет? Слишком мало для величия? — ступай, оставайся в неизвестных способных юношах. Еще не было решено: велик Лермонтов или не велик, но он заговорил на языке Пушкина как на своем, и это уже был язык всей русской литературы. Вдвоем их стало больше, чем только двое: Пушкин и Лермонтов — это была целая и великая поэзия народа, определившаяся раз и навсегда.

Имена их неразлучны в русской памяти, сведены в единое средоточие всего родного.

А Лермонтов не встречался с Пушкиным, не видел, не хотел видеть — так нестерпимо любил. Думаю, что не раз ему говорили: иди, там твой кумир стоит у колонны, на берегу бала, или гуляет меж статуй и дерев Царскосельского сада. Он вскакивал — и падал ничком на кровать, закрыв лицо, один со своею любовью. Принять на себя взгляд Пушкина — казалось грубой развязностью, лишним расходом его зрения, и больно было за свою недостаточность, и гордость мешала: да ведь есть же и во мне хоть что-нибудь?!

Пушкина оплакали люди и народ, но заступился за него всю жизнь один Лермонтов.

Большим, заметным, недобрым взглядом смотрел он в гостиных на Наталью Николаевну, вдову Пушкина. Она робко, с детской обидой — за что? — обращала к нему чудное, кроткое, вопросительное лицо, он отворачивался. Что это? Ревность безумия? — она, с глазами для разглядывания драгоценностей и кружев, а не для чтения, видела его каждый день, а я — никогда? Ненависть — за вину? или за неравноценность? Но она ни в чем не повинна! Пусть, Тамара тоже ни в чем не повинна, а жалко Демона, и вся ее красота и все добродетели не стоят волоса с его грешной головы. Или просто бедная месть за неказистую робость перед спокойной и знаменитой красавицей?

Он и сам понимал в этом чувстве только его силу — и смотрел.

И вот последний вечер у Карамзиных. При общем внимании и недоумении он не отходит от нее, ласково глядит — не может наглядеться, почтительно и пылко говорит — и не может наговориться. Что это? Новая уверенность в себе после признания и успеха? Счастливый случай, открывший ему глаза на прелесть женского ума и грациозного сердца? Да уж не любовь ли безумия? Да, любовь — к тому, любящему ее так сильно, давшему ей детей, наполнявшему

ее собой, создавшему ее из воздуха, взявшему ее в бессмертье под фамилией: Пушкина-Ланская.

Она потом рассказывала об этом дочери, радуясь, как чудесное дитя, заполучившее во власть очарования всех, и великого угрюмца, воздавшего должное не красоте, — это не ново! — а собственным достоинствам личности.

А он — простался с Пушкиным, до встречи — навсегда.

И еще — вместе с Пушкиным и Лермонтовым, другой стороной сердца, — клянусь всегда любить писателя Соллогуба, имевшего величие сказать: «Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особенным талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевел на французский язык Лермонтов».

Х

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

(автор записок — критику Б. С.)

Глубокоуважаемый Б. С.!

Вы оказали мне честь, упомянув меня в статье, общего значения которой я, по роду моих склонностей и занятий, не могу оценить в должной мере. Ваша память обо мне тем более для меня почетна и лестна, что я не имею привычки и страсти к публикациям, и внимание критики для меня чрезвычайная редкость.

Я совершенно согласен с Вами в отрицательной оценке слабого и вульгарного стихотворения, некстати поминающего имени Пушкина и Лермонтова. Единственное, что может оправдать меня перед Вами, это то, что указанное стихотворение, писанное в давнишней и непривлекательно-невежественной молодости автора, сознательно не включе-

но в разбираемую Вами книгу. Так что огорчение Ваше — заслуга не моей, а Вашей энергии. Но все это для меня ровно ничего не значит.

Важно лишь то, что Вы в Вашей статье прямо и точно говорите, что мне «не жалко Лермонтова».

Я полагал, что Вы сами примете меры для наказания человека, в котором Вы предполагаете злодейское сочувствие убийцам Лермонтова. Не только такое обвинение, но даже такое подозрение заслуживает немедленного и решительного разбирательства.

Я настоятельно прошу Вас безотлагательно сообщить мне, каким образом могу я получить от Вас удовлетворение моей чести и совести.

Любые Ваши условия, кроме перевода бумаги, буду считать для меня подходящими.

Примите уверение и прочая...

XI

ЭПИЛОГ

На этом записки неизвестного обрываются.

ЖИЗНЬ ТИЦИАНА ДЛИТСЯ...

Человек, написавший в стихах о том, что он не слагает стихи, не пишет их, а сам написан ими, как всегда, сказал правду. Тициан Табидзе действительно являет собою измышление поэзии, ее шедевр, в гармонии объединяющий

Выступление на вечере, посвященном Тициану Табидзе, в ЦДЛ 29.X.1976 г.

все достоинства без единого изъяна. Он отчетливо и прекрасно нарисован нами в белом пространстве. Нам представлена красота его черт, его доброта, его неувядаемая гвоздика в петлице, и роза на устах, которые никогда не открывались для тщеты, для хулы или для вздора. Этот человек словно желает показать нам, каков должен быть и каков есть поэт в человечестве. Он лишает нас раздумий о совместимости гения и злодейства, он убеждает нас в том, что гений есть великодушие, благородство, доброта.

Сегодня много раз упоминалось драгоценное имя Бориса Пастернака, и вновь душа возвращается к нему, потому что встреча двух этих людей, замечательных не только потому, что речь России и речь Грузии вновь с нежностью и силой объединились, но потому, что их жизнь, их торжественная и доблестная дружба, оставляют нам на память о человечестве, о нашей принадлежности к человеческому роду, замечательный документ, который говорит о том, что люди все-таки прекрасны, и не следует винить их в жестокости, а наоборот, нужно дивиться их мужеству, долготерпению и умению спасать друг друга.

Переписка Нины Табидзе и Пастернака останется для грядущих поколений как свидетельство величайшего напряжения человеческой нравственности, человеческого ума. Меж бездной и бездной в мироздании дует сквозняк и задувает то одну, то другую свечу. Наташа Пастернак, доходя, вот здесь внук Тициана, вот внуки Бориса Леонидовича Пастернака, чьи таинственные прекрасные лица обещают нам, что эта свеча не задута, что свет ее будет длиться во времени. Может быть, в чьей-нибудь бедной и скудной жизни бывает так, что смерть является самым существенным событием в судьбе человека. У поэта—не то. Он тратит мановение на краткую последнюю муку, и потом становится вечным приливом к нашему уму, способству-

ющим нашему спасению. Жизнь Тициана длится в его внуках, длится в неиссякаемых гвоздиках, в цветниках человечества, длится в каждом из нас, кто расположен к добру, расположен к поэзии. Два этих дома — обласкают еще многих; дом Тициана в Тбилиси—все мы еще раз увидим картины Пиросмани, пианино, подаренное когда-то Борисом Пастернаком, и дом в Переделкине—тоже будет обзывать нас к доблести духа. Я прочту два стихотворения—одно Тициана Табидзе—«Маш гамарджвеба» по-грузински, — «Итак, да здравствует»:

Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,
для преклоненья колен пред землею,
для восклицанья: — Прекрасная, здравствуй,
жизнь моя, ты обожаема мною!
Кто там в Мухрани насытил марани
алою влагой? Кем солнце ведомо,
чтоб в осиянных долинах Арагви
зрела и близилась алавердоба?
Кто-то другой и умрет, не заметив,
смертью займется, как будничным делом...
О, что мне делать с величием этим
гор, обращающих карликов в дэвов?
Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
чем этой родины невероятной
видеть красу и от слез удержаться.
Где еще Грузия — Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть и крайняя крайность!
Что понукает движение крови
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?
Если рожден я — рожден не на время,
а навсегда, обожатель и раб твой.

Смерть я снесу и бессмертия бремя
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

И второе — мое:

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхете
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будет в новость
и колдует надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

Что же, дважды будем живы —
двух невероятных стран
речь и речь нерасторжимы,
как Борис и Тициан.

ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ

...Да, в декабре, в теплыни декабря, в жаркий день декабря несколько человек сидели за столом и говорили друг другу добрые слова. Один человек прикрыл глаза рукой и вышел. Он скрывал влажность глаз, но все же сквозь влагу, которой он стыдился, увидел чудный сияющий день, прелесть воздуха и земли, детей, играющих с собакой. Короче говоря, заплакал человек, не знающий, чем отслужить людям и природе их доброту и красоту.

Кто-нибудь спросит: да бывает ли так—теплый декабрь, неожиданная зелень поверх земли, только добрые люди и только дети, играющие с собакой? Так бывает. Тот человек—это была я, и все соучастники того декабрьского дня знали, что все это—совершенная правда. Кто-нибудь спросит: может быть, это в Грузии было? Там в декабре стояли жаркие дни, и там принято говорить друг другу добрые, долгие слова, которые называются тостом. Да, там это было. И вот что сказал мне мой друг и коллега:

— Подлинный тост—это те слова, которые подтверждены сосредоточенностью души на благе и благоденствии человека, о котором ты сейчас говоришь и думаешь. Это тоже страстное слово в пользу другого, других. Я верю во все это. Я хочу, чтобы человек раскрывал уста лишь затем, чтобы сказать доброе слово. Если ночью он не спит и глядит в смутный потолок, то лишь затем, чтобы сосредоточить на ком-то другом добрый помысел, сильный, как колдовство, неизбежно охраняющее чью-то жизнь, чье-то здорье. А за это, за это — все. За это — приходит в гости ель, и дети томятся в ожидании волшебства, не зная, что оно уже с ними. Ель еще за закрытой дверью, но она уже посылает им свой привет.

Алиса опять и всегда в стране чудес, как в моем и в

вашем детстве. «Алиса в стране чудес»—вот еще один подарок—пластинка, выпущенная к Новому году фирмой «Мелодия», пришла ко мне новым волшебством. И как бы обновив в себе мое давнее детство, я снова предаюсь обаянию старой сказки, и помог мне в этом автор слов и мелодии песен к ней Владимир Высоцкий.

Я клоню к тому, что Новый год—это наиболее удобная пора для людей делать друг другу подарки, любоваться друг другом и желать счастья.

29. XII. 1976 г.

СЛОВО, РАВНОЕ ПОСТУПКУ

Спросили: каким представляете вы себе вашего читателя?

И я, пригасив зрение веками и ладонью, стала вглядываться в милый отвлеченный образ, творимый зрачком по моему усмотрению. Уже под веками и ладонью брезжил свет предполагаемой лампы, затевались в окне приметы неизвестного города, прояснялось чье-то дорожное лицо. Когда это лицо, с пристрастием и обожанием составленное мною из прекрасных черт и выражений, сбылось во всем великолепии, картина, видимо, изображала идеального в моем представлении читателя, и оставалось врисовать в нее том Пушкина или другую великую книгу, я в ней не была обозначена. С присущей мне витиеватостью я прямолинейно клоню к тому, что из читателей мне наиболее близки те, которые со мною как с читателем совпадают в главном выборе, — а я не из тех, кто зачитывается собственными стро-

ками. Совершенная правда, что чрезмерная похвала, выдвижение меня на недолжное место если и льстили моему грешному самолюбию, то все же внушали уму скуку и отчуждение. Так же трогала и пугала меня излишняя пылкость взволнованных чтением незнакомок и знакомцев, ищущих немедленного и тесного житейского общения, — я как читатель этого не понимаю. Почему-то это совершенно не противоречит тому, что среди иных взволнованных чтением незнакомок и знакомцев я обрела близких и необходимых соучастников жизни — как-то не насильно, само собою случилось. Впрочем, все это просто: между пишущим человеком и читающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

Если и была у меня нужда измышлять остранный образ читателя, то лишь затем, чтобы полюбоваться лицом человека, склоненным над книгой, обращенным к тому, что в нашем сознании может быть озаглавлено именем Пушкина или соответствует смыслу этого имени в другом языке, в другой географии. Я, подобно всем, кому прихожусь собратом и коллегой, не только кровно и зависимо соотношусь с читателем даже без явных сигналов его внимания и участия, но получаю письма и едва ли не каждый день вижу его воочию во время выступлений или других, преднамеренных или случайных, встреч. Среди неисчислимых любителей поэзии есть, — пусть немного, пусть сколько-то, — тех, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Это значит лишь, что я разделяю с кем-то особенную страсть к родимой речи, к ее усугублению по мере жизни и к невредимой сохранности и что кто-то одобряет способ труда и жизни, которым я намеревалась этому послужить и не имела другой корысти. Способов столько, сколько поэтов, и куда я не преуспела в том, чтобы мой показался

мне совершенным. Но я знаю, что тот читатель, о котором я говорю, полагает, как и я, что слово равно поступку, и сознает его нравственное значение. Та любовь к поэзии, которая оборачивалась благосклонностью ко мне, бодрит и укоряет меня и держит мою совесть в надобном напряжении. И вовсе безотносительно ко мне, особенно во время дальних путешествий, меня не раз поражала высокая просвещенность современного читателя.

И еще я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении и был краше и больше моего, с ними связана я всею жизнью до последней кровинки.

Я надеюсь отслужить жизни, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг и видела доброту людей, которым сейчас, на рассвете, я так сильно, так сосредоточенно желаю счастья в Новом году и всегда.

1 января 1976 года

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи

7	Сны о Грузии
8	Грузинских женщин имена
9	«Смеясь, ликуя и бунтуя...»
10	Абхазские похороны
11	«— Все это надо перешить...»
11	Чужое ремесло
12	«Ты говоришь — не надо плакать...»
14	День поэзии
15	Новая тетрадь
15	Старинный портрет
17	Мазурка Шопена
18	Вулканы
20	Садовник
22	Лунатики
22	«Человек в чисто поле выходит...»
24	«Влечет меня старинный слог...»
25	Бог
27	«Вот звук дождя...»
28	Твой дом
30	Август
31	Апрель
31	Нежность

33	Несмеяна
35	«В тот месяц май...»
36	«Не уделяй мне много времени...»
36	Сентябрь
42	Декабрь
43	«Мы расстаемся -- и одновременно...»
44	Мотороллер
45	Газированная вода
47	Тоска по Лермонтову
50	Стихотворение, написанное во время бессонницы в Тбилиси
51	Прощание
52	«По улице моей который год...»
53	Мои товарищи
56	Маленькие самолеты
58	Магнитофон
60	Сон
62	Заклинание
63	«Однажды, покачившись на краю...»
63	Слово
65	Немота
66	Другое
67	Вступление в простуду
68	Воскресный день
70	Сумерки
72	В опустевшем доме отдыха
73	Дождь и сад
75	«Зима на юге...»
77	Осень
78	Болезнь
80	Пейзаж
80	Зима
81	Биографическая справка
84	Клянусь

85	Уроки музыки
87	«Четверть века...»
88	Свеча
89	Снегопад
90	Метель
91	Симону Чиковани
93	Гостить у художника
96	Зимняя замкнутость
99	Варфоломеевская ночь
101	«Последний день живу я в странном доме...»
102	Рисунок
103	Не писать о грозе
104	«Весной, весной, в ее начале...»
105	«Прощай! Прощай! Со лба сотру...»
106	Прощание с Крымом
108	«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»
109	Воспоминание о Ялте
110	Семья и быт
112	Описание ночи
114	Описание комнаты
115	Описание боли в солнечном сплетении
116	«Случилось так, что двадцати семи...»
118	Ночь
119	Плохая весна
123	«Я думаю: как я была глупа...»
125	«Так дурно жить, как я вчера жила...»
127	«Как долго я не высыпалась...»
131	«Бьют часы, возвестившие осень...»
131	Снимок
133	«Опять сентябрь...»
134	Это я...
136	«Что за мгновенье!...»
138	«В той тоске, на какую способен...»
140	Лермонтов и дитя

141	Медлительность	
142	«...И отстояв за упокой...»	
143	Андрею Вознесенскому	
144	Метель	
	Ожиданье елки	144
	Ада	146
	«Жила в покое окаянном...»	147
	«Он поправляет пистолет...»	148
	Метель	149
150	Строка	
151	Подражание	
152	«Предутренний час драгоценный...»	
153	«Собрались, завели разговор...»	
155	Дачный роман	
160	«Как никогда, беспечна и добра...»	
161	«Я вас люблю, красавицы столетий...»	
162	Сон	
164	Дом и лес	
166	«Я завидую ей — молодой...»	
167	Из цикла «Женщины и поэты»	
	«Так, значит, как вы делаете, други?...»	167
	«Теперь о тех, чьи детские портреты...»	168
	Ночь перед выступлением	170
	«Ни слова о любви!..»	171
172	Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине	
	1. Он и она	172
	2. Он — ей	173
174	Взойти на сцену	
175	«Потом я вспомню, что была жива...»	
176	Дом	
180	Два гепарда	
181	«Какое блаженство, что блещут снега...»	
182	«Прохожий, мальчик, что ты?...»	
182	Воспоминание	

184	Февраль без снега
187	«За что мне все это?..»
188	«Пришла. Стоит...»
189	«Сад еще не облетал...»
191	«Завидна мне извечная привычка...»
192	«Я школу Гнесиных люблю...»
194	«У тысячи мужчин...»
195	Стихотворение, написанное давным-давно
196	«Моя машинка — не моя...»
197	Москва ночью при снегопаде
198	«Стихотворения чудный театр...»
199	Победа
200	Анне Каландадзе
202	«Я столько раз была мертва...»
203	«Помню—как вижу...»
204	«Я знаю, все будет...»
205	Путник
207	Сказка о дожде
218	Озноб
223	Приключение в антикварном магазине
230	Глава из поэмы
236	Луг зеленый
247	Моя родословная

Переводы

	НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ
275	Мерани
	ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ
277	Поэзия — прежде всего
277	Тебе тринадцать лет
278	Персиковое дерево

- 279 Мерц
281 Снег
283 Орлы уснули
285 Скорее — знамена!
285 Платаны Шиндиси
286 «Мир состоит из гор...»
287 Натэла из Циннандали
288 Из рассказанного луной...
290 «Все желтое становится желтей...»

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

- 291 «Брат мой, для пенья пришли...»

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

- 293 Мой Паоло и мой Тициан
294 «Чего еще ты ждешь...»
294 «Как в Каспийской воде...»

СИМОН ЧИКОВАНИ

- 295 Начало
296 Морская раковина
297 «Две округлых улыбки...»
298 Метехи
300 Прекратим эти речи на миг...
301 На набережной
302 От этого порога...
303 Олени на гумне
305 Быки
306 Анания
307 В Сигнахи, на горе
308 Гремская колокольня
309 По пути в Сванетию
311 Задуманное поведай облакам
312 Девять дубов
314 Три стихотворения о Серафите

- Раздумья о Серафите 314
 Зову Серафиту 316
 Гранатовое дерево у гробницы
 Серафиты 317
- 319 Сказанное во время бомбежки
 321 Осколки глиняной чаши
- КАРЛО КАЛАДЗЕ**
 323 Жизнь лозы
 327 «С гор и холмов, ни в чем не виноватых...»
 328 «На берегу то ль ночи, то ли дня...»
 329 «Эти склоны одела трава...»
 330 «Летит с небес плетеная корзина...»
 331 «Когда расцеловал я влагу...»
 331 Русскому поэту — моему другу
 333 На смерть поэта
- ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ**
 334 Корни
 335 Хвамли
 336 Опустевшая дача
 337 «Я книгочей, я в темень книг глядел...»
 338 «Жаждешь узреть—это необходимо...»
 339 «Ты увидел? Заметил? Вгляделся?...»
 340 Далекая Шхелда
 340 Камень
 342 Весна
- ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ**
 343 Память
 343 «Я сам не знаю, что со мной...»
 344 Из стихов Турмана Торели
- ИОСИФ НОНЕШВИЛИ**
 347 «Вот я смотрю на косы твои грузные...»

АННА КАЛАНДАДЗЕ

- 349 Мравалжамьер
350 «Все, что видела и читала...»
353 «Ты такое глубокое...»
353 «Вот солнце...»
354 В Зедазени
355 В Шиомгвие
356 Входила в Гурию каланда
357 По дороге в Бетанию
358 «Снег аджаро-гурийских гор...»
358 «Охотник сумрачно и дерзко...»
359 Звезды
360 «Громче шелести, осина...»
360 Разговор с чиамарней в день Победы
362 Я слечу, сирень...
363 «Когда прохожу по долине росистой...»
365 «О, бабочек взлеты и слеты!..»
366 Я совсем маленькая веточка...
367 «Как пелось мне и бежалось мне...»
368 О магнолия, как я хочу быть с тобой!
370 Молитва змеи
371 Татарке девушке
372 Бубны
372 «Что за ночь—по реке и по рощам!..»
373 «Я тебя увенчаю короной...»
373 Скажи мне, чиамария...
374 «Свирель поет печально...»
374 «Он безмолвствует, спит на крышах...»
375 «Какие розовые щеки...»
376 Ладо Асатиани
377 «Долгой жизни тебе, о фиалка!..»
378 Облака
378 «О, пусть ласточки обрадуют нас вестью...»
379 «Тень яблони живет на красивом лугу...»

- 380 «Перекликаются куропатки...»
380 Тута
381 «Когда наступит ночь...»
382 «Что делает весна...»
383 «О ты, чинара...»
- АРЧИЛ СУЛАКАУРИ**
384 «Опять нет снега у земли...»
- МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ**
385 Я и ты
386 Гагра
387 Пан
388 Из непосланного письма
389 В поезде
390 Продолжение следует
390 31 декабря
391 Соблюдающий тишину
391 Конец охотничьего сезона
392 С тех пор
392 «О милая!» — так я хотел назвать...»
393 Лирический репортаж с проспекта Руставели
394 Дачная сюита
395 «Когда бы я, не ведая стыда...»
396 Северная баллада
396 Очки
397 «В ночи непроходимой, беспросветной...»
398 Ностальгия
399 «Он ждал возникновенья своего...»
399 Масштабы жизни
400 «Когда я целую тебя...»
401 Северный пейзаж
401 «Родное — я помню немало родных...»
402 Стихотворение с пропущенной строкой
402 Песня

403 «Когда б я не любил тебя — угрюмым...»
404 «Я, человек, уехавший из Грузии...»
405 Посвящение
405 Бегство от тебя в Мцхету
406 «Домик около моря...»
407 На смерть Э. Хемингуэя
408 Тийю

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ

409 Солнечный зимний день
410 Петергоф
411 «Да не услышишь ты...»
413 «Колокола звонят...»

ОТАР ЧИЛАДЗЕ

414 Снег
415 «В быт стола, состоящий из яств и гостей...»
416 «Я попросил подать вина и пил...»
418 Шел дождь...
419 Пицунда
420 Бессонница
421 «Бог памяти...»
422 Первый день осени
422 Комната
423 Сон
423 Белое поле

МОРИС ПОЦХИШВИЛИ

425 Ферзевый гамбит

Проза

429 Воспоминание о Грузии
430 Поэзия — прежде всего

435	Отрывок
437	«Прекратим эти речи на миг»
441	Анне Каландадзе
443	Стихотворение, подлежащее переводу...
447	Грузинская поэзия всегда будет со мной
451	К тайне первоначального звучания
454	На Сибирских дорогах (отрывок из рассказа)
457	Вечное присутствие
464	Чудная вечность
468	Пушкин. Лермонтов...
475	Лермонтов
524	Жизнь Тициана длится...
528	Однажды в декабре
529	Слово, равное поступку

АХМАДУЛИНА ИЗАБЕЛЛА АХАТОВНА
СНЫ О ГРУЗИИ

Редактор **М. Бирюкова**
Художник **Б. Мессерер**
Художественный редактор **А. Сарчимелидзе**
Технический редактор **А. Якимова**
Корректор **Л. Шахназарова**

ИБ — 312

Сдано в набор 2 июля 1976 г.

Подписано в печать 6 июля 1977 г.

Бумага № 1 70×108¹/₃₂

Печатн. л. 17,0

Условн. печ. л. 23,8

Учетно-издат. л. 20,21

Заказ № 1833 Тираж 20.000 УЭ 01126

Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Мерани»
Тбилиси, пр. Руставели, 42
Тбилисская книжная фабрика
Тбилиси, пр. Дружбы, 7

(දිගු කලින්)

සමස්ත ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනයට

දියුණු කිරීමේ ප්‍රයත්නවල නිරතවීම

